Литературно-художественный журнал

Основан в 2001 году при поддержке Союза писателей России

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ

Выходит ежеквартально

№1 (44) • 2023

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

3 **Александр КОСТЕРЕВ.** Стихи
7 **Дмитрий ВОРОНИН.** Эх, лапти да лапти... Жил-был художник один. *Рассказы*
19 **Виктория ЖДАНОВА.** Стихи
23 **Лидия ЛЮБЛИНСКАЯ.** Держа спину прямо. *Рассказ*
27 **Валентин НЕРВИН.** Стихи
33 **Евгений ДОЛМАТОВИЧ.** Голоса полуденной пыли. *Рассказ*
43 **Иван МАЛОВ.** Стихи

ДЕТСКАЯ КОМНАТА

47 **Инна ЧАСЕВИЧ.** Тося и Зося. Хрупкая сказка. *Рассказы*
57 **Валерий МУСИЕНКО.** Подарок для Деда Мороза. *Сказка*

ГОСТИНАЯ «ИЗЯЩНОЙ СЛОВЕСНОСТИ»

63 **Татьяна ТАРАН.** Верочка. *Рассказ*
68 **Игорь КОЧНЕВ.** Стихи
73 **Александр ЮДИН.** Чудь-гора. *Рассказ*
87 **Николай ТРЕТЬЯК.** Стихи

ПРОЗА. ДЕБЮТ

93 **Анна МЕРУК.** Зелёное яблоко. Песня старого шамана. *Рассказы*

ПОЛКА ДРЕВНОСТЕЙ

97 **Мария ПОХИАЛАЙНЕН.** Тень летящей птицы на вечнозелёных дубах. *Рассказ*

ПЕРЕВОДЫ

103 **Екатерина ЮДИНА.** Диалогическая природа ранних произведений Хори Тацуо: к переводу новелл Акутагавы Рюноскэ «Окно» и Хори Тацуо «Окно», «Святое семейство»
108 **Акутагава РЮНОСКЭ**. Окно. *Новелла (перевод с япон. Е. Юдиной)*
110 **Хори ТАЦУО**. Окно. *Новелла (перевод с япон. Е. Юдиной)*
113 **Из немецкой поэзии:** Вильгельм Арент *(перевод с нем. И. Ивановой)*
117 **Из английской поэзии:** Лоуренс Биньон, Альфред Дуглас *(перевод с англ. М. Чернышевой)*

Главный редактор –
Светлана Склейнис

Редакционная коллегия:
Ольга Атаманова
Александра Дашкевич (ответственный секретарь)
Виталий Дмитриев
Борис Орлов
Елена Первушина
Виталий Пинковский (зам. главного редактора)
Владимир Порудоминский
Александр Скоков

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
При перепечатке ссылка на журнал «Изящная словесность» обязательна.

© Журнал «Изящная словесность», 2023

Александр
КОСТЕРЕВ

СТИХИ

ДО ОСЕНИ ЗА ДЕНЬ

Какие произносятся слова
до осени за день или за два?
Не донкихотствуй, август, вереницы
ветров пронзают солнечные спицы,
твоей листве пригрезилась напасть
упасть до снега, а под ним пропасть...
А осень – лучезарная кокетка –
разденется почти до голой ветки
и соблазнит своею наготой,
мгновеньям лета говоря:
– Постой!
За день, за два судьбе не прекословь –
мы поминаем летнюю любовь,
ведь охлажденье рыщет у порога,
а впереди – нелёгкая дорога,
которой мы проследовать должны
галдящим птичьим клином...
До весны!
Какие произносятся слова
до осени за день или за два?

ЁЖИК

Сколько трагичности в мире: туманы и реки...
Ёжики бродят в траве, в городах – человеки,
в тайной надежде отведать душистого чаю,
с другом/подругой вечерние звёзды считая...
«Шишел не мышел», – пророчат летучие мыши,
ухает филин, а страхи ночные всё ближе...
Слабо фонарик мерцает вдали светлячковый,
отданы: чувства, долги, ожиданья, швартовы...

• **Александр Костерев** родился в Ленинграде. Автор стихов, пародий, коротких рассказов. Участник нескольких ленинградских ЛИТО, ВИА и рок-групп, автор и ведущий музыкальных программ на Ленинградском радио. Автор текстов более чем к 100 песням на музыку известных российских композиторов. Песни на стихи А. Костерева в разное время исполняли: Валентина Легкоступова, Валерий Леонтьев, Эдита Пьеха, Михаил Шуфутинский, группы «Ариэль», «Нескучный сад», «Пламя» и др. Живёт в Санкт-Петербурге.

Кто сбережёт нас в промозглой ночной канители,
ёжиков – стражей тончайших душевных материй?
Кто защитит от простуды, тумана, испуга?
Как хорошо, что мы живы и есть...
Друг у друга...

ВРЕМЕНАМИ

Весной мы почки на ветвях,
мы новизной стремимся к людям,
луч солнца в молодых горстях,
и то, что будет...
Мы летом – скошенная новь,
мы – одуванчик над полями,
возможно, мы уже любовь,
и то, что с нами...

Мы листья осенью в бору,
что догорают, словно свечи,
ледок на лужах поутру,
который лечит...
Зимою мы холодный снег,
вой вьюги в воздухе остылом,
в нас говорит не человек,
а то, что было...

БАБУШКИНО ЗЕРКАЛО

Зеркало высилось (прямо,
как гренадер до парада)...
Зеркало ранено в раму
бомбой (осколком снаряда?).
Не испугалось обстрела,
долгой блокадной бомбёжки...
Главное, что уцелело,
лишь помутнело немножко.
В той довоенной квартире
Зеркалу не разгуляться:
комната – три на четыре
и потолок – два пятнадцать...
Зеркало помнило деда,
бабушку, папу и маму,
светлые лики победы
(Бог с ним, что ранено в раму)...
Мода сменяется модой...
Зеркалу нынче не спится:
в нём отражаются годы
и незнакомые лица...

МОЛЧАНИЕ

Слова раздражают уши –
молчанье не может лгать...
Мне нравится больше слушать –
тебе, как всегда, молчать...
И в этой тиши вселенской
бормочет по крыше дождь:
– Молчание не-из-мен-но,
когда ничего не ждёшь...
В подполье скребутся мыши,
в окно заползает свет...
Мне кажется, я услышу,
что ты промолчишь в ответ...

ПОМИЛУЙ...

Бог в улыбке и руке,
Он жив, как лики в красном уголке,
хоть, безусловно, прячется повсюду:
помоет губкой грязную посуду,
под вечер шьёт и штопает носки,
а что Его шаги – они легки,
касания Его подобны чуду...
У тихих вод заросшего пруда
желтеет одуванчик придорожный,
он тоже – Бог, и жизнь его проста,
а мы с тобой, выдумывая сложность,
ей воздвигаем гордый пьедестал...
А сколько жить – полгода ли, полста?
Под гнётом гирь торопятся часы...
Недолог век у капельки росы,
И по тропинке за крутым холмом
мы к первозданной тишине бредём...
Для грешника такая благодать –
со стороны за Богом наблюдать...

НЕПАРАЛЛЕЛЬНОЕ

В параллельных мирах мы летим – горделивые птицы,
в параллельных мирах, где не встретиться и не проститься,
в параллельных мирах, постигая вселенский простор...
Параллельность миров разделяют заборы и стены
(сохранив своё «Я», мы возводим преграды из тлена):
ни звонка, ни письма, ни привета, ни взгляда в упор...
Нам дороже Евклид, но правы Лобачевский и Риман,
наше первое: «Ма!» от прощального неотличимо,

мы не ценим счастливых мгновений до крайней поры...
Параллельны миры... Мы как линии в них одиноки,
не транжирьте любовь: быстротечны улыбки и вздохи,
и, пожалуйста, будьте добры, берегите миры!

ХОДИКИ

На стене, на гвоздике,
жили-были ходики:
жили-были,
жили-были
(точно ходики ходили),
жили-были,
жили-были
(горевали и любили,
провожали и встречали,
дни недели отмечали).
Досаждали только гири:
так тянули и давили,
возвращая к прошлому –
ничего хорошего...
Как-то лопнула цепочка –
встали ходики, и точка:
неразлучны в мире
ходики и гири...
Вот превратности судьбы...
Жили-были,
жили бы...

Дмитрий ВОРОНИН

РАССКАЗЫ

ЭХ, ЛАПТИ, ДА ЛАПТИ...

Сергей любил деревню, с самого раннего детства любил. Устя ему, будто матрёшка, всякий приезд по-новому открывалась, одаривала очередным чудом. Ещё в три года совершенно ошеломила. Отец с матерью впервые повезли его на смотрины к деду с бабулей. Как же, первый внук, а живёт аж за три тысячи километров, даль-то какая. Сел Серёжка в стальную птицу яркой осенью, а уже через несколько часов приземлился в студёной зиме. Ну и чем не чудо? И дня не прошло, а ты уже у Деда Мороза в гостях. Снег искрится, похрустывает, и сугробы со всех сторон в два, а то и в три Серёжкиных роста. А дом-то какой, не дом – дворец, терем волшебный, весь из брёвен да с крыльцом высоченным. Таких у Балтийского моря и не было никогда. Пацанёнка в сени завели, от снега шубейку да валенки отряхнули, двери в кухню открыли, а навстречу зверь невиданный.

– Муу, – и Серёжку прямо в морозную щёку шершавым языком.

Просто жуть! Серёжка на задницу плюхнулся и ну реветь. Зверь тоже. А все хохочут, за животы хватаются. Никому не страшно, только одному Серёжке, да, может быть, чудовищу, что его съесть хотело. К стене прижалось и орёт, громче смеха:

– Муу.

Хотя и не факт, может, тоже хохочет:

– Муу.

Потом-то, конечно, ясно стало пацанёнку, что зверь этот и не зверь вовсе, а телёнок несмышлёный, только-только на белый свет народившийся, да от лютого мороза из коровника в горницу для выживания переведённый временно. Но в первый-то момент, ох и страшно! Такое всю жизнь помнить – не забыть.

В следующий, уже летний приезд в Устю Серёжке открылось ещё одно чудо чудесное – сенокос. Целую неделю с раннего утра отправлялись всем семейством на луговину, что колхоз деду под лесом выделил. А там... Гнёзда

• **Дмитрий Воронин** – сельский учитель. Автор трёх сборников рассказов. Участник альманахов и прозаических сборников в России и за рубежом. Публиковался в литературно-художественных журналах. Лауреат международного литературного конкурса на соискание премии им. А. Куприна, международных конкурсов и фестивалей «Славянская Лира», «Славянские традиции», «За далью – даль». Один из организаторов литературного фестиваля «Русский Гофман». Член Союза писателей России. Живёт в п. Тишино Калининградской обл.

жаворонков с птенцами да бабочек пестрота. Сачок в руки – и ну охотиться за павлиньим глазом. Надоест – в речке пескарь да уклейка поверху ходят, можно и их тем же орудием изловить. У воды, смотришь, ящерка на камне пригрелась, и её за хвост. И запахи кругом такие ароматные, всё бы съел.

А ещё через год в лес по грибы да по ягоды походы, и зверьё всякое на пути. То змейка-медянка тропку переползёт, то заяц ушастый из кустов на дорогу выпрыгнет. Волков и медведей, конечно, не встретишь, бабуля знает, куда за припасами водить, но всё ж. Сердечко так и подскакивает от каждого стороннего шороха-треска.

Перед школой дед на первую рыбалку взял – ночную. Под это дело настоящую удочку Серёжке наладил. В сумерках и первый окунь на крючке затрепыхался. Восторг полный. А там и костерок с ушицей, и байки-сказки до полуночи. Наслушался на всю жизнь.

Потом, будучи уже школьником, Серёжка бабушкин сундук для себя открыл, дедов чемодан с медалями, янтарным мундштуком и прочими мужскими сокровищами, ну и, конечно же, чердак. Самый притягательный и непредсказуемый, запретный и потому пугающий своим особым загадочным миром. Каждый новый приезд Серёжка обязательно забирался тайком в это царство непознанного и всякий раз совершал новые для себя открытия. Монеты стал собирать, вот тебе и царская копеечка из-под лаги выглянула.

– Дед, откуда тут николаевский пятак может быть? – удивлялся Серёжка. – Дом, что ли, такой старый? Когда построен?

– Да кто его знает, когда. До революции, это точно. Я в ём родился. Вроде ещё мой дед скатывал, мне батька говорил.

К чтению Серёжка пристрастился, а наверху целые залежи пожелтевших газет и журналов. Невероятное погружение в прошлое вечерами под свет фонарика на сеновале. Спичечные коробки отцу вдруг надумалось коллекционировать, и тут без чердака не обошлось. Серёжка аж целую дюжину в каком-то ящике обнаружил, четыре из которых ещё довоенными оказались. То ли бабушка, то ли прабабушка на чёрный день спрятали да и забыли. Вот отец обрадовался!

То коньки-фигурки, то фонарик многоцветный, то перочинный ножичек, ещё сталинский, каких ни у кого отродясь не водилось. Словом, и землю рыть не нужно, все клады на чердаке.

Полюбил Серёжка Устю, прикипел к ней намертво. Уж и дед с бабулей давно померли, и отец с матерью за ними ушли, а Сергей Ильич каждый отпуск в деревне проводит. Спасибо Богу, что две тётки-вековухи живы пока. Старшая, Катерина, уж старая совсем, больная, ходит еле-еле, а вот младшая, Ольга, вполне ещё молодуха, племяша лишь лет на девять всего старше, поэтому Сергей Ильич с ней на «ты». Тётки рады племяннику всякий приезд. Кормят его, поят, обихаживают. Стараются каждое желание любимчика разгадать и исполнить по возможности. Ни много ни мало – устинские феи. И без подарка никогда не проводят. Правда, подарки Сергей Ильич сам себе находил среди ненужных и забытых домашних вещей, но тётки были этому даже рады – не надо лишний раз и денег тратить.

– Забярай, Сярожа, утюг ентот. Чаго яму впустую ржаветь по углам? А табе в твоём городе он ащё сгодится на пользу. И гнёт для капусты квашанной самый тот, и если аляктричество вдруг отключат, брюки сабе погладишь. Углей токо

насыпь в няго, не забудь. Хороший табе от нас подарок, утюг ентот. В хозяйстве вещь полезная, хоть и баушкина ащё.

В другой раз тётки искренне радовались очередному своему подарку.

– Самовар абы как и нам ба хорош, но уж прохудился давно, а лудить-паять некому, Иваныч лет десять как помёр, последний у нас лудильщик. И выбросить жалко, сколько чая из него выпито. А ты яго в своём городе в мастерскую снесёшь, да заплатку-то медную и поставишь, глядишь, ащё век пыхтеть будет, дедушкин-то.

В третий раз и вовсе удивлённо ахали, с интересом рассматривая находку племяша – часы с кукушкой.

– Вот жешь нашёл же себе подарок, а мы про яго и забыли уж давно. В детстве ащё мамка всё их настраивала, да потом кто-то пружину сломал, так и бросили на чардак. Забярай, Сярожа, нам они без надобности таперь. Мы и так без всякой кукушки в пять утра как по команде встаём, не спится особо на старости-то лет. А ты ащё молодой, спишь долго, пущай она тебе кукует, токо пружинку новую вставь.

Но однажды найденный подарок не случился. Неожиданно для самого себя, в очередной раз обследуя чердак, Сергей Ильич наткнулся на задубелые лапти, висевшие в самом тёмном углу и плотно затянутые седой паутиной. Обувка могла бы и дальше оставаться незамеченной, если бы он случайно не осветил находку фонариком, споткнувшись о фанерный ящик.

– Вот, лапти обнаружил, – похвалился пропылённой обувью Сергей Ильич.

– Каки-таки лапти, показывай.

– Да вот, смотрите. Под стрехой в углу висели, – протянул тётушкам плетёнки племянник.

– Надо ж, сохранились, – покачала головой Катерина. – Папка ащё до войны заплятал, с обувкой-то плохо было. А как с фронту возвернулся, перестал энтим делом заниматься. В сапогах кирзовых ходил, помнишь нябось? Да и в сельпо сандалеты появились, стали там куплять. А эти, видать, повесил на чардак, да забыл об них, а апосля войны и не вспомнил уже.

– Так я их в подарок себе возьму, в память о деде, – улыбнулся Сергей Ильич, – будет хоть что-то, сделанное его руками. Семейная реликвия.

– Не отдам, – неожиданно прозвучал приглушённый голос тётки Ольги.

– Не отдашь? – удивился тёткиному отказу Сергей Ильич.

– Не отдам, самой нужно.

– С чего это? Сто лет не нужны были, а тут вдруг понадобились.

– Всегда нужно было.

– Для чего? В них и ходить-то уже не походишь, окаменели намертво.

– А мне не ходить, – хмуро пробубнила Ольга.

– Тогда зачем? Не повесишь же ты их обратно.

– Нет, не повешу. Во гроб с собой возьму. На ноги накажу себе одеть, мне там не бегать.

– Чего? – поражённо уставился на тётку Сергей Ильич.

– Чаго? – вылупилась на сестру Катерина. – Дура совсем?

– Сама дура, – ещё больше насупила брови Ольга. – Тебе ни к чему, а мне надо. Папкина обувь, с собой заберу. Забыла, он меня как любил? Больше тебя. Я у него любимицей была. Не отдам!

– Всё равно дура, – обиженно отвернулась от сестры Катерина, – всю жизть ею была. Вот и батька тебя жалел, потому что дурочка. Так и говорил: «Дурёха моя».

– Ну и пусть, а лапти не дам.

Сергей Ильич пытался ещё несколько раз убедить Ольгу отказаться от старенькой обувки, но ответ был один:

– Не дам. В гроб в них лягу.

На что всякий раз следовало заключение Катерины:

– Дура совсем, чаго тута рассуждать. Да и упёртая, что осёл. Чаго в голову вплятёт, того уж не выплятит. Вся в батьку. Тот тоже упрямцем прослыл на всю округу. В колхоз созывали когда, упёрся, что баран, не пойду, мол, и всё. Мне и в кустарях хорошо. Так и не пошёл, даже выселок не испужался, хоть мамка и плакала.

В следующий приезд запрос на лапти повторился, но результат не изменился.

– Дура набитая, – резюмировала Катерина.

– Сама дура, – завершила полемику Ольга.

Зимой Катерина умерла, и дурой называть Ольгу стало некому. Летом Сергей Ильич вновь затеял разговор вокруг дедовской обуви.

– Оль, лапти-то отдашь? Может, передумала?

– Нет, – отрезала тётушка, – и не заводи эту тему боле. Моё слово – скала, я его не поменяю. Если тебе лапти так уж нужны, пойди да купи на базаре. Там кустари чего хошь продадут.

– На фига мне чужое, я дедовы хочу.

– И я хочу в папкиных в гробе лежать.

– Слушай, Оль, – неожиданно сообразил Сергей Ильич, – а ты представь себя в этих лаптях в домовине. Они ведь, вон, какие серые да некрасивые. Такие и не надевает уже никто. Ну если только ряженые на ярмарках.

– А я надену.

– Да ради Бога. Только вот с тобой подруги прощаться придут, их мужья, соседи. Станут на тебя любоваться, одежду твою рассматривать. Оценивать начнут. Судачить.

– Ну и чего?

– А ты в лаптях.

– К чему ты это?

– Так ведь скажут, ну всем хороша, но как была колхоз, так им и осталась.

– Это почему?

– Потому как в лаптях. Все в белых туфельках да сапожках в рай собираются, а ты в лаптях. Извини, ну баба бабой.

Тётка подозрительно посмотрела на племянника, что-то пробурчала себе под нос и вышла во двор. Больше к этому вопросу не возвращались.

За день до отъезда Сергея Ильича Ольга торжественно положила на стол завёрнутые в целлофан лапти и гордо произнесла:

– Подарок!

– А как же ты? – приподнял брови Сергей Ильич.

– Забырай, не нужны мне, – хитро прищурилась тётка. – В магазин пойду. Соседка сказала, что вчера туфли итальянские завезли. Белые как раз.

ЖИЛ-БЫЛ ХУДОЖНИК ОДИН

Ах, этот волшебный Тбилиси, этот великолепный Тбилисо! Ах, эти потрясающие сациви и сулугуни, чахохбили и хачапури, хинкали и чанахи! Ах, эта «Хванчкара», эти «Цинандали», это «Киндзмараули» и это «Мукузани»! Ах, этот Вахтанг со своей песенкой «Чито-гврито»:

Чито-гврито, чито маргарито, да...

Дмитрий Петрович с женой Наденькой просто обалдели от красот чудесного города. Гуляли по запутанным улочкам Авлабари, заглядывали в сказочные дворики Старого Тбилиси, наполненные ароматами местной кухни и громкими голосами старожилов, удивлялись необычным строениям Мтацминды и смеялись радостно друг другу всякий раз, когда встречали на пути что-то неожиданное. А неожиданностей попадалось предостаточно. Старуха-торговка, завернутая с ног до головы в чёрные шали и предлагающая купить любую из них: «Э, дарагой, падары сваей жэнщине платок. Сматри, заморзла савсэм! Из лучшэй авцы сдэлан, самую лахматую стрыглы. На сэвэре грэть как пэчка станэт. Ты с сэвэра?». Подвыпивший велосипедист, горланящий на весь квартал «Тбилисо» и не дающий обогнать себя целой веренице машин. Постовой, увещевающий лохматого пса, пытающегося ухватить его за штанину: «Слушай, дарагой, атстан, а? Савсэм задрал, а? Гдэ твой совэст?». Комбинации, бюстгальтеры девятого размера и цветные семейные трусы, гордо реющие на верёвке, перетянутой через дорогу между домами.

– Просто замечательно! – цокал языком Дмитрий Петрович и поднимал вверх фотоаппарат.

– Просто сказочно! – жмурилась от удовольствия Наденька, выщёлкивая на камеру телефона гордых грузинских кошек.

– Просто невероятно!

– Просто чудо чудесное! Вот только куколки для моей коллекции не хватает, и тогда уж, точно, полная нирвана, – кивнула в сторону очередной сувенирной лавки Наденька.

– Стоп! – пресёк её попытку супруг. – Мы же договорились, что покупаем только редкие вещи и только на блошином рынке.

– Ну так пошли уже на этот чёртов рынок, – капризно надула губы Наденька, – сколько можно меня мариновать, измучилась совсем. Третий день в Грузии, а я всё ещё без куклы! Время пролетит, не заметишь.

– Надюша, потерпи до завтра. Ты же знаешь, пойдём – пропадём. Сегодня город досмотрим, хинкали съедим, саперави выпьем, в театр сходим, а завтра, с утра пораньше, и окунёмся в волшебный мир блох. Ты – кукол искать, я – картины высматривать. У нас четыре дня ещё впереди, хватит.

Дмитрий Петрович собирал картины, а Наденька куколок. По возможности старались пополнять свои коллекции уникальными экземплярами, но всё больше случались бесполезные покупки, которые потом расходились по друзьям и знакомым. Денег на такие приобретения хватало раз-два в год, и радость от удач держалась долго-долго.

Наутро блошиный рынок Тбилиси встретил новых покупателей тепло и весело, как давних знакомых, моментально погрузив их в круговорот своей жизни.

Аромат кофе и пряных булочек наполнял всё пространство барахолки от Сухого до Саарбрюкенского моста, перекинутого через Куру. Почти вся торговля шла прямо с земли. Всюду лежали покрывала и простыни, картон и байковые одеяла, газеты и даже ковры, на которых, порой в полнейшем беспорядке, валялась всякая всячина – от поношенной обуви до виниловых пластинок. Тут можно было найти и истрёпанные временем книги, и советскую бижутерию, и детские игрушки, и русские самовары, и напольные часы с патефонами, и саквояжи с фотоаппаратами. И только на облупленных столиках, раскладушках и самодельных прилавках товар выглядел упорядоченно: кинжалы и ножи отдельно, значки и медали отдельно, марки и открытки отдельно. Глаза покупателей вытанцовывали половецкие пляски, пытаясь отыскать в этом хаосе необходимую вещь.

Вытанцовывали глаза и у Дмитрия Петровича. Выплясывали до тех пор, пока не наткнулись на прислонённую к чемодану картину какого-то местного художника. Работа была любительская, очень небрежная и, скорее всего, недописанная, тем не менее она привлекла к себе внимание. По всей видимости, художник изобразил на холсте сельский пейзаж. Хотя Дмитрий Петрович мог и ошибиться. На переднем плане особо выделялись тёмно-зелёные пятна то ли многочисленных кустов, то ли деревьев, но полной уверенности в этом не было. Прорисовка была нечёткой, совершенно размытой. Деревья могли оказаться и чем-то другим. В середине картины просматривалось подобие водоёма, но и тут могло не сложиться. Под определённым углом зрения водоём превращался в пашню или огород. На заднем плане угадывались сельские домики, за которыми синели горы, а может быть, и само небо.

– Что скажэш? Правда красыва? Тэбэ нравитса? – неожиданно прозвучало рядом.

Дмитрий Петрович обернулся на голос. Возле него стоял типичный невысокий усатый грузин с классической кепкой-аэродромом на голове и с любовью смотрел на произведение искусства.

– Замэчатэлный жывапыс! Пазапрошлый вэк, канец дэвятнадцатого, старина ещё при царэ. Втарой Пырасмани! Выжу по тваим глазам, что панравилса. Пакупай. Тэбэ, как знатаку, бонус.

– А что за художник этот ваш второй Пиросмани? – весело сощурился Дмитрий Петрович.

– Вай, ты нэ знаэш? – удивлённо приподнял густые брови грузин. – Эта жэ Вано Вэпхвадзэ! Точна нэ знаэш?

– Нет.

– Вах, ви слыхалы, он нэ знаэт Вано Вэпхвадзэ! – повернулся продавец к соседям, и те укоризненно закивали. – Можэт, ты и Ван Гога нэ знаэш, и Кустадыева с русскими красавыцами?

– Ван Гога знаю и Кустодиева тоже.

– Вот выдиш, Ван Гога знаэш, Кустадыева тожэ, а Вано Вэпхвадзэ нэт. Это нэ справэдлыва, слюшай! Давай, купи картыну, дома на стэну павэсиш, будэш знат, кто такой Вано, будэш гастям паказыват, мнэ спасыбо гаварит.

– Сколько стоит?

– Какой маладэц, всё панымает. Тэбэ, как цэнытэлю, за пэтсот лари отдам, савсэм бэсплатна! – махнул вверх ладонью грузин.

– Пятьсот? – изумлённо уставился на него Дмитрий Петрович.

– Што? Многа? – развёл руками продавец. – Я тэбэ даром её отдаю, а ты глаза на мэня вилуплаэш! Врэмя маё тратыш. Иды атсюда, можэт гдэ дэшэвлэ вэликого Вэпхвадзэ купиш, – возмутился хозяин картины и обиженно отвернулся от покупателя.

Дмитрий Петрович удивлённо пожал плечами и продолжил обследовать рынок. Часа два супружеская пара внимательно изучала развал, с наслаждением втягивая в себя запахи ушедшего времени. От каждой вещи исходил свой неповторимый аромат – дух истории.

Наденьке удалось пополнить свою коллекцию прелестной французской фарфоровой куколкой первой половины двадцатого века, а Дмитрий Петрович удачно сторговал у старой торговки, плохо говорившей по-русски, любопытный натюрморт с изображением абрикосов, рассыпанных по столу вокруг бокала с красным вином. Написан он был лет пятьдесят назад на фанерной крышке от посылочного ящика. Довольные собой и покупками супруги возвращались в гостиницу.

– Э, слюшай, зачэм мима идёш, на картину савсэм нэ смотрыш? – раздался позади знакомый голос. – Нэ хочэш Вэпхвадзэ забират, так и скажи. А то я тэбя тут цэлий дэн жду, дамой нэ иду. Никаму этот шэдевр нэ прадаю, голодный савсэм. Двадцат чэлавэк хатэли картину купит, всэм атказал, тэбэ бэрёг, а ты мима праходиш. Будэш пакупат?

– За пятьсот лари?

– Канэчна! Патрогай, – протянул грузин картину Дмитрию Петровичу, – натуральный масло, гдэ ещё такой найдёш? Это тэбэ нэ в магазынэ для сывэниров. Там всё нэ настаящее – эрзац.

– Нет, дорого.

– Пачэму дорого? Пэтсот лари – дорого? Савсэм жадный, да? Совэсти нэт! Мнэ за нэё сэмсот лари давали, нэ прадал, тэбэ бэрёг. А ты – дорого! Аграбыт мэня хочэшь, па мыру пустыт! Знал бы, што такой крукул, вчэра бы другому прадал за тысачу лари.

– Так за семьсот хотели купить или за тысячу? – улыбнулся Дмитрий Петрович.

– Вчэра за тысачу, сэгодна за сэмсот. Твой какая разныца? – возмутился продавец. – Иды, давай, дамой и нэ мароч мнэ уже голаву. Но павэр, завтра сам прыбэжыш, спат вся ноч нэ уснэш. Мэтатьса по падушкам будэш, про Вэпхвадзэ думат.

Утром, сидя за чашкой кофе, Дмитрий Петрович с Наденькой наметали дневной план и рассмеялись послеобеденному посещению Сухого моста.

– За картиной второго Пиросмани?

– Обязательно!

Прогуляв всю первую половину дня в ботаническом саду, до краёв наполненном магией, и откушав в одном из подвальчиков старого Тбилиси эрбохачо, харчо, чашушули и кучмачи, супруги, взявшись за руки, неторопливо направились к рынку.

– Вай, сматры, Нино, идот! – донёсся издалека до счастливой парочки зычный голос грузина. – Я тэбэ гаварыл, куда дэнэтса! Картина у нас валшэбная, нэ днём, нэ ночью нэ атпускаэт.

Дмитрий Петрович широко заулыбался продавцу, как старому доброму знакомому.

– Вот, гуляем по городу. Заодно решили и по рядам пройтись, вдруг вчера чего не заметили, мимо проскочили.

– А што здэс сматрэт? Сматры – нэ сматры, болшэ такой красату нэгдэ нэ увыдэш. Так толка Алэксэй Вэпхвадзэ мог нарысават!

– Как Алексей? – удивился Дмитрий Петрович. – Вчера же Иван был.

– Развэ? Ты точна помныш? – подозрительно покосился на него грузин.

– Точно. Вы сами его Вано называли.

– Нэ можэт быт! Што я Вано от Алоши нэ атлычу? А тэбэ какой разныца, што Иван, што Алоша? Аны в адной сэмье жили. Это атэц и сын, нэ панымаэш, да?

– Не скажите. Возможно, этот ваш Вепхвадзе Вано и второй Пиросмани, но тогда какой Алексей? Третий, что ли? А если третий, то и цена должна быть как за третьего.

– Умный, да? – сняв кепку, задумчиво потёр затылок продавец. – Ладна, угаварыл, бэри Алошу за трыста лари.

– Надо подумать.

– Иды, думай. Толка долга нэ хады, купыт могут.

И этот день оказался удачным. За двадцать лари Дмитрию Петровичу достался простенький городской пейзаж, по всей видимости, долго пылившийся где-то на чердаке или антресолях. Краска в некоторых местах осыпалась, и на изображении виднелись какие-то потёки, но в целом картинка выглядела вполне сносно. Наденька же нашла однорукую куклу-марионетку фотографа-грузина и была этому необыкновенно рада. Возвращаясь обратно, она повела бровями в сторону знакомого продавца.

– Нас, верно, высматривает.

И действительно, владелец трёх Пиросмани тревожно рыскал глазами по пёстрой толпе, снующей вдоль торговых рядов. Заметив Дмитрия Петровича, пожилой грузин радостно замахал ему своей огромной кепкой.

– Давай, давай, иды скарэй суда! Ужэ устали тэбя ждат с Нино. Всэ глаза прасматрэли. Нэт и нэт савсэм. Думали, ушол – нэ прыдёш. Забыл, про тэбя тут Джаванни Вэпхвадзэ очэн скучаэт?

– Какой ещё Джованни? – от неожиданности подался назад Дмитрий Петрович.

– Как какой? – нахмурился грузин и показал на давешную картину. – Вот этот. Чачу пыл или вина многа?

– Не пил я ничего.

– Нэ пыл, а Джаванни нэ узнал. Можэт, тэмпэратура?

– Может, у вас температура?

– У мэна зачэм?

– Да просто бред какой-то, – потёр висок Дмитрий Петрович. – Этот ваш Джованни с утра был Алёшей, а вчера так и вовсе Иваном.

– Правда? – в свою очередь удивился грузин. – Вчера Иваном бил? Точна?

– Ну да, Иваном.

– И што тут нэ ясна? Иван, Джаванни – одна имя.

– Ага, то русское, то итальянское, то грузинское.

– Слушай, што прэстал, как в банэ лыст? Нэ знаэш нэчэго, так малчы, да? Джаванни – эта внук Вано, сын Алошы, он в Италии радылса, в самом Мыланэ, там гдэ Ла-Скала. Там Паваротти пэл. Ты опэру лубыш?

– Люблю.

– А гаварыш, што нэ знаэш, пачэму Джаванни. Вот мама и папа, каторый Алоша, его так назвалы. В чэст дэда. Толка на италянском. У тэбя внуки эст?

– Нет.

– Вот кагда будут, ты их тожэ в чэст дэда назавы. Так всэ дэлают. Памят.

– Ну ладно. А картина тогда чья?

– Всэх! – обозлился грузин. – Ты савсэм нэ панымаэш? Или издэваэшса.

– Почему издеваюсь? Не понимаю, – искренно посмотрел на продавца Дмитрий Петрович.

– Вся сэмья Вэпхвадзэ – художныки. Аны всэ вмэстэ картыны рысуют. Всу жызн, из пакалэныя в пакалэныя.

– Сколько лет?

– Многа. Можэт сто, можэт болшэ. Дэд начынаэт, сын патом далшэ прадалжаэт, внуки заканчывают. Вэздэ так.

– И поэтому дорого?

– Канэчна! А как ты хатэл? Здэс какой труд? Сто лэт картыну пышут, нэ раздва ляп. Одын зэмлю рысуэт, другой – лэс и полэ, трэтый – нэбо и воду. Патом адын шэдэвр палучаэтса. Сам выдыш.

– Ну уж, конечно, шедевр, – скептически ухмыльнулся Дмитрий Петрович.

– А ты выдыш, какой здэс мазок, выдыш, какой тэн? – обиделся грузин.

– Нет, не вижу, – сделал шаг в сторону от картины Дмитрий Петрович.

– Правэлно, нэ выдыш! У абыкнавэннаго художныка всо проста, а у классыка нэчэго нэ панятна, патаму и дорага. Павэсыш такую картыну на гвозд и ходыш вакруг нэё всу жызн, и думаеш, што там на нэй нарысована. И мэчтаеш всэгда. Сэгодна адна мэчта у тэбя, патаму што солнце так пасвэтило на краски, завтра у тэбя втарая мэчта, патаму што солнца луч на картыну лёг с другой стараны, а послэзавтра трэтий мэчта, патаму што солнца луч вапшэ нэкуда нэ лёг, тэмно на улыцэ, вэтэр адын и дожд идот. Сагласэн?

– Ну, наверное, и так бывает. Только мне авангард не нужен, я пейзажи люблю.

– Э, какой авангард, слюшай. Мнэ самаму авангард нэ нужэн. Маяковский толька замэчатэлный, но он – грузын, у нас радылса. Тут ныкакой нэ авангард, тут пэйзаж и ест, как у Лэвэтана. Помныш его картыну «Кладбищэ на Волгэ»? Я в Масквэ в Трэтаковкэ бил, кагда в сэсэре жили, Лэвэтана увидэл – лубов на всу жызн. Вэпхвадзэ тожэ Лэвэтан, толка в Грузии.

– Да ну?

– Нэ вэрыш? А вот пасматры, – стал тыкать пальцем в тёмно-зелёные пятна на холсте грузин, – вот горы, выдыш, Казбэк.

– А почему они зелёные? Горы, если вдали, чаще синие.

– Какой сыные? Сыный нэбо, а тут лэс в гарах. Ты што, лэса нэ видэл?

– Видел. Ну, допустим тут лес, а где тогда Казбек? Там же снег круглый год на вершине.

– Э, какой снэг? Расстаэл снэг, экалогия такой сэгодна, тэпло вэздэ, парник на зэмлэ. Заводы там, фабрыки, машины ездат, воздуха нэ стала савсэм, адын газ. Вот и на Казбэк дашол, всо атравыл. Купишь картыну?

– Не знаю. Надо подумать ещё. Тут даже авторской подписи нет. Как определишь – Вепхвадзе это или нет?

– Ты какой-та тугой дум, вродэ так па русски. Очен долга думаэш, два дня ужэ. Так и памэрэт можна. И што здэс апрэдэлат, и так выдна, настаящый Вэпхвадзэ. Нэ вэрыш? Тэбя как завут?

– Дмитрий.

– О, Димэтр, харошее имя, умное. А мэна – Арчыл, или Арчи завы. А ты знаэш, аткуда твой имя?

– Вроде греческое.

– Маладэц, знаэш. Димэтр – это бог в Греции, он палями и уражаями рукавадыл. Ты сам аткуда прыехал?

– Из Калининграда.

– О, Лэнинград, красывый город, чут хужэ Тбилисо. Я там бил давно, эшо в савэтскае врэмя. В Эрмитаж хадыл, на Аврору хадыл, в Лэтнэм саду хадыл, в Пэтропавлавку хадыл, по Нэвскаму хадыл. Панравылса мнэ Лэнинград. Но скучна. Грузын мала, пэсэн мала, Куры нэт, Авлабара нэт, вино – дран. Прасты. Картину завэрнут?

– Я ещё не решил, – задумчиво посмотрел на «шедевр» Дмитрий Петрович.

– Пачэму нэ рэшил, а? Иза подпэси, да? Ка мнэ ужэ сорак чэлавэк падхадилы, прадат прасылы, пэтсот лари давалы, на подпыс нэ сматрэлы. Нэ прадал, тэбэ бэрог, как другу. А ты – нэ рэшил. За двэсти лари нэ рэшил. Бэсплатно савсэм! Бэри, пака дошева, – настаивал Арчил.

– Я думаю.

– Вах, ты слышала, Нино, он эщё думаэт. Индук тожэ думал, пака в харчо нэ папал. Можэт, чачи выпьем, чтобы думал быстрэе? Или в нарды сыграэм?

– Нет, сегодня не могу. Сейчас в консерваторию идём оперу Доницетти слушать.

– Навэрно, «Любовный напыток»?

– Точно, – удивился эрудиции грузина Дмитрий Петрович.

– Какой маладэц! Завтра расскажэш, как пэли. Я патом тэбэ «Сулико» спаю. Сравныш, – и, повернушись к жене, добавил: – Пасматры Нино, Димэтр на опэру идот, наш чэлавэк, настаящый грузын.

После спектакля супруги в отличном настроении неспешно возвращались в гостиницу. По дороге они бесконечно делились между собой впечатлениями об опере, консерваторской акустике, актёрах и певцах, об оркестре и зрителях. И только в номере вспомнили о продавце-грузине.

– Когда к Арчилу завтра пойдём торговать Вепхвадзе? – подмигнула супругу Наденька.

– Как обычно, после обеда.

– А давай с утра. С утра мы туда ещё не ходили.

– Ну давай, – согласился Дмитрий Петрович, – позавтракаем и пойдём.

– Нет, давай совсем рано пойдём, когда ещё и торговли нет, а продавцы только-только подтягиваются к рынку и начинают раскладывать свои сокровища.

– Так это часам к восьми надо уже там быть. Встанешь?

– Встану, – уверенно ответила Наденька и хитро прищурилась. – А ты представь, какое лицо будет у нашего замечательного грузина, когда он увидит, что мы его уже ждём!

– Нет, не могу. Хотя... – вдруг рассмеялся Дмитрий Петрович.

– Вот-вот.

Арчил, впряжённый в самодельную коляску, наполненную товаром, полусонно двигался к Сухому мосту. Рядом с ним, высоко подняв подбородок, аристократично вышагивала Нино, раскрыв над головой китайский зонтик и придерживая подмышкой дамскую сумочку. Её взгляд был устремлён поверх голов идущих навстречу людей.

– Гамарджоба, Арчи! Гамарджоба, Нино! – приветствовали пару ранние торговцы.

– Гагимарджос, Гиви! Гагимарджос, Ашот! Гагимарджос, Елена! – кланялся в ответ Арчил.

– Гагимарджос, – небрежно отвечала Нино.

– Арчи, Нино, там вас ужэ ждут, – предупредили по дороге супружескую чету.

– Ждут? Кто ждот, скажи? – окончательно проснулся Арчил.

– Увидишь.

– Димэтр! Надин! – широко улыбаясь, закричал на весь рынок грузин, заметив стоящих на его торговом пятачке знакомых. – Вах, какой нам падарок, Нино! Пакупатэли раншэ прадавца прэшлы. Эта балшой чэст для нас! Такая удача можэт адын раз в жизни бываэт. У мэна пэрвые – точна! Давно ждош? – заключил Дмитрия Петровича в свои объятия Арчил.

– Ещё солнце не встало, пришли, – пошутил Дмитрий Петрович, аккуратно высвобождаясь от цепкой хватки.

– Ты слышала, Нино, какой джигит Димэтр! Ночю, в тэмнатэ к нам с табой са сваей Надин пашол! Нэ напугалса! Настаяшый гэрой! Мцыри! Я тэбэ за эта Бруно Вэпхвадзэ за сто лари падару! Павэсиш дома на стэну, Арчи с Нино добрым словом помныт будэш. Мы ыкат станэм, тэбя с Надин вспомним. Дай пацэлую!

– Слушай, Арчил, – от переизбытка чувств перешёл на «ты» Дмитрий Петрович, – а почему сегодня уже Бруно? Вчера ещё Джованни был. Второй внук, да?

– Ай, маладэц, Димэтр! Умный какой! Пачты чут-чут нэ угадал, – весело рассмеялся грузин. – Бруно – это правнук Вано. У Вэпхвадзэ цэлый дынастия художныкав, как у вас Рурыки. Ат кназа Игара до батки-цара Ивана Грознава. Сэмсот лэт Русью правэли, так и у нас Вэпхвадзэ болшэ сто лэт рысуют. Дай Бог им таланта эшо на пэтсот лэт и далшэ. Я тэбэ тут подпыс напысал на картынэ от всэх Вэпхвадзэ. Тэпэр купиш?

– Какую подпись? – у Дмитрия Петровича отвисла челюсть от изумления.

– Ну ты вчэра жалэл, што подпысы художнэка нэт. Я падпысал. Тэпэр эст, сматры, – развернул Арчил перед ошарашенным покупателем полотно. – Правда, красыва?

Внизу картины, слева направо, во всю ширь, красным фломастером кривыми русскими буквами было написано: «Вэбхвадзэ Вано – атэц, Вэбхвадзэ Алоша – сын, Вэбхвадзэ Джавани – внук, Вэбхвадзэ Бруно – правнук. Картынэ сто лэт. Пэйзаш. Казбэк в лэсу.»

– Мама, родная! – ахнул Дмитрий Петрович.

Наденька, отвернувшись в сторону, кусала носовой платок, глаза её наполнились слезами, а плечи вздрагивали.

– Нравытса тэпэр? – улыбался Арчил, вопросительно глядя на покупателя. – Бэрош?

– Очень нравится! С подписью просто шедевр! За такое и переплатить не жалко. Гениально! Беру! – отсчитал сто пятьдесят лари Дмитрий Петрович.

– Вай, маладэц, Димэтр! Тэбэ – удача, мнэ – удача. Ты замэчатэлный пакупатэл! Лучшый у мэна.

– А ты, Арчил, замечательный продавец! Лучший у меня.

– И у меня, – подтвердила Наденька, вызвав первую улыбку на лице Нино.

Грузин протянул деньги супруге.

– Нино, царыца мая, схады к Софико, вазми у нэё чачу, хачапури, виноград. Скажи, Арчи друга встрэтил, из Лэнинграда прэлэтэл са сваэй Надин. Празнык у нас. Шашлыки у Дато купы, у нэго из настаяшэй авцы.

– Моя Надя чачу не пьёт, крепкая она.

– Пачэму – крэпкая? Нэчэго нэ крэпкая, чут крэпчэ вина, савсэм как лэманад.

– Да и времени у нас нет.

– Пачэму нэт? – нахмурился грузин. – Зачэм абижаэш? Всэго час пасэдим, пагаварым, я тэбэ «Сулико» спаю. В нарды играэш?

– Нет.

– Научу.

Через два часа, выпив из пластикового стаканчика очередную порцию чачи, Арчил выпрямился, зажмурил глаза и в третий раз затянул:

Сада хар чемо Сулико?

Второй куплет подхватили соседи Арчила, тоже поднявшись со своих мест во весь рост, а третий куплет запевал уже весь рынок. Закончилось невероятное исполнение дуэтом Арчила и Нино.

– Это тэбэ на пращаниэ от всэй Грузии, – склонил голову Арчи.

– Боже, какие голоса, какие голоса! – плакала в восторге Наденька.

– Ты должен к нам приехать, Арчи, слышишь, должен, – требовал у грузина ответа совершенно обалдевший Дмитрий Петрович. – Обязательно с Нино! Мы вместе решим, где повесить твою картину. Дай слово, что приедешь.

– Прыеду, дарагой, абэзатэлна прыеду. Давно хачу в Лэнинград. И Нино пускай пасмотрыт на втарой Тбилисо.

– В Калининград, – обнимая за плечи Арчила, поправил Дмитрий Петрович.

– Э, какой в этам разныца, Калынинград-Лэнинград. Главнаэ, што у нас с табой, Димэтр, Грузия и Расия навсэгда!

– У нас с тобой, Арчи, точно Россия и Грузия навеки!

Виктория
ЖДАНОВА

СТИХИ

* * *

Сыпать словами, у призрачной двери застыв,
Голову в кровь о косяк разбивая смиренно,
Денно и нощно пытаться подняться с колен, но
Самозабвенно сжигать пред собою мосты.

Света не видя, но слепо уверовав в свет,
Рыбой гния с головы в бесконечной омерте,
Вечным огнём выгорая на память о смерти,
Жить напролом, соблюдая закон и завет.

Глухо вокруг, и предательски глухо внутри.
Канули в омуте дней перезрелые жажды.
Дважды безумье уйти и вернуться однажды.
Трижды беспроки что пастыри, что пустыри.

Веруя, выпросив каплю надежды взаймы, –
Вера с надеждой порой как две капли похожи, –
Встав под знамена из собственной содранной кожи,
Сыпать словами в преддверии вечной зимы.

* * *

Надев надежды праздничный наряд,
На зов меж виселиц идя и каруселей,
Всем пить до дна похмелья без веселий,
Всем пить до дна под тусклый свет лампад.

Чужая дудка – мороковый лад,
Она исчадье и орудье крысолова.
Там, где она, – условно право слова,
Там, где она, – не действо, но обряд.

Чужие дудки выстроились в ряд,
Пляши без устали, любую выбирая,
Все как одна – сулят блаженство рая,
Все как одна – мостят дорогу в ад.

• **Виктория Жданова** родилась в Санкт-Петербурге. Автор-исполнитель, участник поэтических, музыкальных, благотворительных и антивоенных фестивалей, руководитель творческого сообщества «Другая среда». Публикации в литературных альманахах и журналах: «Аврора», «Голоса Петербурга», «Окно», «Сфинкс» и др. Автор четырёх поэтических сборников.

* * *

Костыли-апостолы слева, справа.
Птицей налетела беда-расправа,
В оторопь торопится вбить, зверея.
Выпало-не выпало стать старее –
Лотерея.

На века́х, на ве́ках навет, усталость.
Навью обросло, воронью досталось
Право выбирать. Выбить рай не прочь, но
Яблочки в саду назревают порчей,
Червоточат.

Костыли, апостолы – всё постыло,
Стылая смола настелилась с тыла.
Зрячие на ощупь дорогу ищут
Зря. Предрешено решето почище.
Пепелище...

ЗВЕРЬ

Смутные дни узнавая звериным чутьём,
В каждом кармане по «камню за пазухой» пряча,
Мерить полётом падения каждый подъём,
Вымолчать право на жизнь – непростая задача.

Присные сны не спасают. Попав в переплёт
Страхов, запретов, желаний, безбожно распятый
На перекрёстках, что в клетку срастаются влёт,
На перекрестьях прицелов, без прав на попятный.

Зверем по клетке, предчувствуя бич перемен.
Зверь узурпировал каждую клеточку тела.
Маками стигмы и догмами вопли сирен –
Глупая выдумка зла никому не хотела.

Слеплен вслепую лютующий спесью божок,
Приданным смыслом и преданной сутью наполнен.
В играх с огнём на кону не пожар, так ожог,
Как ни смотри и ни плюй со своих колоколен.

Веруя в зверя, и ярь его чуя нутром,
Вверив себя ему в плен, как последней надежде,
Мазать елеем отчаянья грянувший гром,
Всласть уповая на тварь, выживавшую прежде.

Выжато, выжрано, выжжено... Пустошь и тишь.
Новое снова по прахом пошедшему сверя,
Руны руин обрастают лишайником, лишь
Теплятся сумерки тихим дыханием зверя.

* * *

Кормить с руки, кормить самим собой,
Лелея боль и беспросветную усталость,
Когда тебя почти что не осталось,
Пустую жертву бросив на алтарь.

Архив безумий – смутный календарь –
Заполнен вновь и вывернется снова.
Вразлёт и вдребезги опора и основа,
И цепь секунд, бегущих на убой.

Молчали руны – дар глухих небес.
Пустыми хлопотами суетности хлопья.
Металась лжи услужливость холопья,
Твердя своё на разные лады.

За вязью слов потеряны следы –
Читать по шрамам карты лицемерий.
Узлом на памяти навязанность потерь, и
Ликует в каждой клетке мелкий бес.

С последней каплей стало через край.
В лицо, как плюнуло, плеснуло сожаленье.
Пришёл черёд поставить на колени
Исчадий гнева проклятую рать.

Слетелись стаи каркать и карать.
Кормить их с рук и, с рук им всё спуская,
Найти спокойствие – надежда плутовская.
Наградой в уши бьёт вороний грай.

* * *

Забившись будущим и прошлым меж,
Пока часы от времени пустели,
Лежать, как на погосте, на постели
Бесплодным ворохом несбывшихся надежд,

Запомнив и запамятовав вновь,
Что Феникс, неуёмный погорелец,
Хоть засыпает пеплом прежних телец,
Вернется. Горьким перцем в стынущую кровь

Отсыпав щедрой горстью разных «но»,
Взметая стаи страхов и смятений,
Разбрызгивая стёкла, быль и тени,
Влетает новый день надеждою в окно...

* * *

Радость бензиновой радугой – всё как ты любишь.
Солнца весеннего жёлтый нарцисс отцветает.
Жёлтый цветок, очевидно, к разлуке. Что ж. Ну, бишь,
Где в ожидании спит перелётная стая?

Локоны дыма – седой серпантин благовонный
Жжёных мостов – безусловная прихоть побега.
Там, где кончается Слово, – случаются войны.
Где не хватило любви, – не найти оберега.

Талыми льдами размытость исправленной правды,
Ветром неверия камень скрижалей изглажен.
Ради награды свершённому боги не рады,
Будут блаженны послушники собственной блажи.

На ухо ветер о будущем шепчет невнятно
Что-то, на быль не похожее вовсе, и всё же –
Жёлтый нарцисс и бензиновой радуги пятна –
Всё как ты любишь, и даже мурашки по коже.

* * *

Морочит боль невидимой культи –
Полсердца отнято и скормлено собаке.
Последний шанс уйти
Упущен в драке,
А на часах ещё как будто без пяти

Минут пора, и без пяти путей,
И бес пустой любви опять стучится в двери.
Подлее и лютей
В своей потере
Не стать бы. Омут тише без затей.

Не сломлен дух, но сломана печать –
Вразлёт следы, и память стаей птиц дичала.
Был дан обет зачать
Судьбу сначала –
Вполсердца выживающая чадь.

Лидия
ЛЮБЛИНСКАЯ

ДЕРЖА СПИНУ ПРЯМО

Рассказ

Памяти моей мамы,
Елены Павловны Люблинской

Она шла, держа спину прямо, как учили её в детстве, слегка переваливаясь из стороны в сторону, походкой утки на своём шестьдесят шестом году жизни, останавливаясь через каждые пятнадцать-двадцать шагов из-за мучившей её одышки. «Сердечная жаба», – ставил ей диагноз врач районной поликлиники, которого приходилось каждые три-четыре дня вызывать на дом. Эта больная порядком надоела ему своими постоянными жалобами на тяжесть в груди, одышку и изнурительный зуд во всём теле. Чем он мог ей помочь?! Ну, давал направления на разные анализы, на консультации кардиологов, дерматологов и прочих узких специалистов. Вплоть до психиатров, которые прописывали ей успокоительные капли и даже сильнодействующие таблетки. Эти лекарства не столько лечили, сколько подавляли волю и дурманили сознание. Однако ничего не помогало. Самочувствие её стремительно ухудшалось. Эхография? УЗИ? Ничего этого в те годы (а это были восьмидесятые) в столицах наших ещё не было.

Она шла по лабиринту дворов Герценовского института, переходя от корпуса к корпусу среди ветхих облупившихся зданий кирпичной кладки времени основания этого Воспитательного дома в начале восемнадцатого века. За высокой чугунной оградой, тянувшейся почти от Невского проспекта до Гороховой, плескалась холодная Мойка, над которой с пронзительными криками носились хищные стаи чаек, а набережная вдоль реки всегда была замусорена шелухой от семечек, огрызками, сигаретными хабариками и, особенно в тёплое время года, заполнена абитуриентами, съезжавшимися сюда со всех концов страны.

Она шла, переходя от географического факультета к историческому, от математического к экономическому. Старое пальто строгого английского покроя из материала «букле» тёмно-вишнёвого цвета, пару лет назад собственноручно перекроенное и надставленное, ладно сидело на

• **Лидия Люблинская** – коренная петербурженка. Филолог. В прошлом редактор издательства. Ученица Глеба Семёнова. Две книги стихов, журнальные публикации. Лауреат международного конкурса «Согласование времён» (лонг-лист, 2010). Член Международной федерации русскоязычных писателей.

всё ещё женственной и статной фигуре. Туго набитый портфель с бумагами, учебниками и ведомостями мерно раскачивался из стороны в сторону в такт её шагам. Губы её были плотно сжаты, тёмные глаза сосредоточенно смотрели перед собой. В целом лицо её выражало острую внутреннюю борьбу.

«Как долго всё это может продолжаться?» – думала она про себя и не находила ответа. Взрывы хохота и беготня пролетающих мимо студентов вызывали в ней раздражение, волна злости накатывала на раненую, измученную болезнью душу. А вот и коллеги, преподаватели английского идут навстречу. Надо сделать приличное выражение лица, чтобы – не дай Бог! – никто не заподозрил её ни в плохом самочувствии, ни в личных антипатиях. Нет, нет, этого допускать нельзя в педагогической среде: пойдут слухи, урежут часы, снизят ставку, а у неё на носу пенсия! И так муж из последних сил таскался с шоколадными наборами к инспектору районного собеса со справками и документами, падая от усталости, просиживал там в очередях, чтобы выкроить ей жалкие надбавки за работу во время блокады, за педстаж, за грамоты и медали. Ничего, однако, не получилось: назначили пенсию по старости 54 рубля 23 копейки. Хоть ложись и подыхай. Если бы не муж – её вторая половина, так бы и случилось, наверное.

Другие как-то научились выторговывать себе разные преференции и льготы, подниматься через головы сослуживцев по карьерной лестнице. Но только не она. Что такое этические нормы и порядочность, ей внушили с раннего детства. Эту прививку она получила с рождения и впитала в плоть и кровь. Её вчерашние сокурсники по институту теперь ездили по заграницам под соусом «обмена опытом», принимали участие в разных престижных совещаниях, получая при этом надбавки и звания. А она тянула лямку рядового преподавателя высшей школы. Она замещала всех заболевших, ушедших на повышение, выступающих на зарубежных конференциях. До тошноты долбила с отстающими герундий и спряжения, формы глаголов *to be* и *to have*, учила переводить постылые тысячи, рассказывала английские анекдоты, осипшим надломленным голосом пела *Jingle Bells* и *Let my People go*. Студенты её любили, с удовольствием слушали, а когда она уже не могла приходить из-за болезни в институт, сами являлись к ней домой сдавать зачёты и экзамены (нерешительно входили в квартиру – всё же к преподавателю вуза), заходили в носках, при входе сбрасывая обувь, робко здоровались, бормотали что-то невнятное, протягивали зачётки.

Она родилась в семье известного профессора права Санкт-Петербургского университета. Отец знал пятнадцать языков, переписывался со многими европейскими и американскими знаменитостями, держал богатую библиотеку. В то же время он не был снобом: прекрасно играл в теннис, плавал, был заядлый грибник. Её мать, ученица отца на Бестужевских курсах, утончённая блондинка с глубокими голубыми глазами, дочь гродненского раввина, покинув «черту оседлости», бежала в Петербург, одержимая желанием приобщиться к бурлящей жизни просвещённой столицы. Это была женщина передовых взглядов и острого ума, которая, однако, не знала, с какой стороны подойти к плите и как закрепить пуговицу. А ещё в семье рос её брат, красивый болезненный мальчик, будущий художник, все тяготы несчастной жизни которого им пришлось делить на двоих.

Когда ей исполнилось шестнадцать, на пороге квартиры появился участковый с новенькими корочками паспорта в руках. Её паспорта. Кроме неё в доме никого

не было. Участковый, как и следовало по тогдашнему примитивному протоколу, уточнил данные во всех графах: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, адрес по прописке. Оставалась незаполненной одна графа: национальность. На дворе стоял злополучный 1937 год, машина государственных репрессий катилась по стране на полной скорости, оставляя за собой выжженную землю.

– Национальность? – спросил её молоденький милиционер. Она на секунды замялась, подыскивая ответ на неожиданный вопрос, и он без всякой задней мысли подсказал: – Русская? Ну да, конечно, она русская. Кто же ещё?! Он так и записал в той самой памятной пятой графе: национальность русская. Впрочем, она и правда не мыслила себя другой. В семье правил дух интернационализма. Ни её отец, ни мать никогда не говорили на идише, всё ещё популярном в еврейской среде белорусского Гродно, откуда они были родом. Отдельные словечки проскальзывали в разговорах как смысловой фон, отдельные жесты и интонации напоминали ещё об их корнях. Но чистый русский язык, активная жизнь в атмосфере молодого амбициозного советского общества не оставляли ей повода для сомнений в этом щепетильном, как позднее оказалось, и совсем не простом вопросе.

Открытая и эмоциональная от природы, она всегда бурно и непосредственно выражала свои чувства. Она была похожа на отца: атлетически сложенная, гибкая, с глубоким взглядом и бархатным меццо-сопрано. Свои длинные тёмно-каштановые волосы она заплетала в косы, обвивая ими голову, а впоследствии стягивала шпильками и заколками в тяжёлый узел. В сочетании с правильными чертами лица профиль её напоминал изображение римской камеи.

В шестнадцать лет она со всей страстью юности влюбилась в аспиранта отца, красивого и талантливого молодого человека, позже погибшего на Ленинградском фронте в самом начале войны. Начался бурный роман. В один из вечеров в квартире накануне свидания оказалась давняя знакомая семьи, кокетка, светская львица из числа образованных приживалок, которая буквально не давала прохода смущённому атакой юноше. Реакция последовала незамедлительно: конкурентка была вышвырнута мокрой шваброй из квартиры, с визгом летела с третьего этажа, но впредь уже не рисковала появляться на глаза взбалмошной сумасбродке.

В июне 1941 года, оканчивая институт иностранных языков, она сдавала госэкзамены в бомбоубежище. Известный лингвист, крупный знаток европейских языков, профессор Борис Ильиш, следивший за её успехами, прочил ей блестящее будущее, настаивал на продолжении занятий в аспирантуре. Она выбрала другой путь: чистая наука была чужда её деятельному характеру. Вместе с другими выпускниками курса она поехала рыть окопы. Потом работала в больнице имени Эрисмана, что на Петроградской стороне: в самые жестокие блокадные морозы 42-го года ежедневно шла по обледеневшим улицам и мостам города ухаживать за ранеными, а летом сажала лебеду на госпитальном дворе и варила из неё суп. Потом была начальником штаба МПВО, тушила на крышах домов зажигательные бомбы. Обучала английскому разведчиков СМЕРШа.

Опускался вечер. Рассасывая таблетку валидола, вытирая покрытое мелкими каплями пота пылающее лицо, она села на скамейку возле памятника Бецкому. Стоял октябрь. Было сыро и ветрено. Листва сыпалась с высоких крон старых

деревьев. Ветер гнал их прочь, взвивая и кружа над растрескавшимися плитами у главного входа. Она водрузила на колени тяжёлую сумку, вытащила пачку тетрадей и, водя ручкой над страницами, стала их проверять, слегка шевеля губами. В отличие от своих сверстниц и коллег она никогда не делала маникюр, только аккуратно подстригала ногти маленькими изогнутыми ножницами с янтарными ручками, как обычно делала её мать, щепетильная в отношении своего туалета. Руки её были тёплые и шершавые, а пальцы изобиловали отметинами от иголок и булавок, которыми она то и дело пользовалась, перешивая, распарывая или надставляя износившиеся вещи домочадцев. Она с детства росла в атмосфере, исключающей безделье: шила, стирала, скребла кастрюли. Всему этому её, наблюдательную и хваткую, научила жизнь, в которую она вглядывалась пристально и жадно, не упуская деталей.

Прошло минут двадцать, но легче не становилось. Её начал бить озноб. Сознание мутилось. Сторож, обходивший перед закрытием дворовых ворот территорию института, подошёл к ней, наклонился, тронул за плечо, посветил в лицо карманным фонариком. Понял, что дело плохо. Спросил номер телефона, чтобы позвонить родным. Она глухим голосом еле слышно прошептала. Минут через пятнадцать к входу подошёл очень пожилой, задыхающийся, с перепуганным лицом мужчина. Он был в старомодной фетровой шляпе и свободном развевающемся длинном плаще. Он бережно подхватил её под руку, и они тихонько пошли, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Это было их последнее совместное путешествие протяжённостью около пятисот метров до дома на противоположном берегу Мойки, которое, однако, длилось с остановками более часа.

На следующие сутки скорая увезла её в больницу на Малой Конюшенной (тогда она носила имя Софьи Перовской). Здание больницы находилось напротив школы Петершуле, которую она когда-то окончила. Долго мучиться ей не пришлось. Ровно через сутки в шесть утра её не стало. Соседки по палате вспоминали, как она отчаянно и настойчиво кого-то звала по имени. Похоже, мужа. Хрипела, кричала и, наконец, затихла. Наутро в палате уже стояла пустая железная кровать без наматрасника с табличкой в изголовье, на которой жирно были перечёркнуты её имя и фамилия. Просьбу родных избежать вскрытия администрация отклонила. В справке, выданной за подписью патологоанатома, в разделе «Причина смерти» было написано: «Доброкачественная миксома левого предсердия. Перекрытие кровотока на 95 процентов».

Вот уже больше тридцати лет её нет на свете. Больше тридцати лет я хожу по набережной Мойки мимо института, где она работала, той же дорогой, по которой ходила она, дышу тем же сырым воздухом, слышу те же пронзительные крики чаек, ворошу ботинками сухую листву, осыпающуюся с тех же деревьев. Хожу и смотрю, как становятся хозяевами жизни её вчерашние студенты, как выходят в классики те, что использовали её конспекты, руководили, читали доклады, колесили по миру, вершили судьбы. Она ушла из жизни, так и не пройдясь по шумной Пикадилли; не запрокинув голову, рассматривая плывущий в облаках Биг-Бен; не увидев, как играют Шекспира на подмостках театра «Глобус»; не услышав эха своих шагов по каменным ступеням Тауэра... Она ушла, так и не услышав живую английскую речь, фонетику и грамматику которой преподавала без малого 60 лет генералам, школьникам, учёным и студентам.

Валентин
НЕРВИН

СТИХИ

ОТРАЖЕНИЕ

Умолкла гитара,
костёр догорает,
и тянет прохладой от сонной реки.
От первой любви человек умирает,
а больше ему умирать не с руки.
Взгляни на расхристанного гитариста –
он лишь отражение в тёмной воде;
немного спиртного и «Завтрак туриста»
ему не зачтутся на Страшном Суде.
Среди затаившихся ночью растений,
у времени под окаянной пятой,
останутся наши влюблённые тени
и белые лилии в заводи той.
Почти незаметно теченье речное,
костёр догорает, гитара сбоит,
и шероховатое небо ночное,
как первое зеркало мира стоит.

* * *

Ничто не может превозмочь
стремления к высокой цели:
звезда, и дерево, и ночь
стоят у детской колыбели.

Ребёнок разомкнул уста,
и наши звёзды полетели
от колыбели до креста
и от креста до колыбели.

* * *

По соседству с огородами,
в третьем доме от угла,
за тесовыми воротами
эта девочка жила.

• **Валентин Нервин** родился в 1955 году. Член Союза российских писателей, автор 17 книг стихотворений. Лауреат литературных премий им. Н. Лескова и «Кольцовский край», международного литературного фестиваля «Русский Гофман». Удостоен специальной премии «За сохранение традиций русской поэзии» (в рамках Международной Волошинской премии) и международной Лермонтовской премии. Живёт в г. Воронеже.

Не забуду, как украдкою
мы гуляли налегке
там, где вымощен брусчаткою
склон от улицы к реке.

Покатило время под гору
по булыжной мостовой,
разделило годы поровну
линией береговой.
За какими поворотами
та, которая жила
за тесовыми воротами,
в третьем доме от угла?

* * *

Пока стрижей стремительная стая
выныривает с облачного дна,
лежу в траве, до неба дорастая,
по лабиринтам воздуха и сна.
Пути Господни неисповедимы
равно для птиц, деревьев и земли;
фантазии мои необходимы
какому-нибудь облаку вдали.
А ветер, налетая временами,
раскачивает сны и тополя,
и с высоты,
которая над нами,
не разобрать,
где я, а где земля.

* * *

Тридевятое августа.
Ночь напролёт
я сижу в полутёмном углу «поплавка»,
и какой-то эстет на эстраде поет:
– Ах, зачем эта ночь так была коротка!..
От луны по воде незатейливый след,
городского романса простые слова –
дежавю продолжается тысячу лет:
человек умирает, а память жива.
В акватории неба, у всех на виду,
по течению ночи плывут облака.
Не гони лошадей,
я допью и уйду.
Тридевятое августа.
Жизнь коротка.

* * *

Зарядили дожди бесконечные,
слёзы капают наперебой.
Мы с тобою земные, невечные,
мы из плоти и крови с тобой.
Потускнели пейзажи окрестные,
время года пошло на закат,
регулярные силы небесные
взяли наши сердца напрокат.
Если жизнь – это лишь ожидание
невозможного, то, уходя,
на прощание, как на свидание,
подари мне улыбку дождя.

* * *

Деревья,
травы,
перегной
и прочее земное –
всё это прежде было мной
и снова станет мною.
Врастаю в землю, а потом
ветвями поднимаю
листву, поющую о том,
чего не понимаю.

СТАРЫЙ АЛЬБОМ

Листаю альбом незапамятных лет
и, кажется, чувствую кожей,
когда фотографии смотрят на свет
и судьбы толпятся в прихожей.
Какая проекция счастья была
тогда на супружеских парах,
какая прекрасная юность цвела
на тех фотографиях старых!

Пора бы, пора бы усвоить всерьёз,
что молодость не повторится,
но в этом альбоме ни горя, ни слёз,
а только весёлые лица!
Душа покидает родные места,
но даже в покинутом доме
блуждает улыбка счастливая та,
забытая в фотоальбоме.

СТАНСЫ

Который год заела суета:
по кругу воевали-пировали,
но проносящий ложку мимо рта
насытится когда-нибудь едва ли.

По разуменью каждого из нас
живём на положении особом;
но суета заела, Бог не спас,
и что-то заколодило за гробом.

Проносятся лихие времена
до апокалиптического срока –
наверное, кому-нибудь нужна
такая бесполезная морока.

Но, чур меня! – сижу навеселе
по случаю суровой непогоды,
как Человек на суетной земле –
последнее творение природы.

ПОГРЕБКИ

Полустанок-полустаканок
называется Погребки.
После пьянок и перебранок
маринованные грибки.
День пройдёт, поезда промчатся,
Бог не выдаст – жена не съест,
никакого тебе начальства
на четыреста вёрст окрест.
Не железная ли дорога
устаканила горемык? –
здесь от стрелочника до Бога
получается напрямик.
...Пассажирский проходит рано.
Закобенившийся чуть свет,
я бы вышел на полстакана,
только тут остановки нет.
Просвистели... А за составом
те же, времени вопреки:
будка стрелочника, шлагбаум,
за шлагбаумом – Погребки.

* * *

Теневой узор на скатерти
от цветочного букета
оживил в осенней памяти
заблудившееся лето.
Знаю, время заполошное
для того и заблудилось,
чтобы снова по-хорошему
наша осень золотилась.
И не стоило печалиться,
и не надо огорчаться:
то, что вовремя кончается,
может заново начаться.

* * *

Кособокая лодка, река...
Я сегодня, до первой звезды,
разгоняю веслом облака
на поверхности серой воды.
Ты любила меня наизусть
и почти позабыла теперь –
есть какая-то сладкая грусть
в осознании горьких потерь.
И куда по судьбе ни плыви,
откликаются издалека
перелётные птицы любви,
утонувшая в небе река.

* * *

Отчего, скажи на милость,
на какой такой предмет
этой ночью мне приснилась
песня юношеских лет:
там красивая такая
отражается в трюмо,
и поёт не умолкая
Сальваторе Адамо.
Только время априори
человеку не судья –
Сальваторе, Сальваторе,
спета песенка твоя.
Что упало, то пропало;
мы не выкрутимся, но
даже то, чего не стало,
в зеркалах отражено.

ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ

Памяти Е.Б.

На холме
за Акатовым монастырём
я совсем неспроста замечаю сегодня
эту грань между августом и сентябрём,
полосу отчуждения
Лета Господня.
Всё, на что не хватило души и ума,
не хватило решимости нынешним летом,
в сентябре ускользает по склону холма
до реки, за которой...
не будем об этом.
Что мы знаем о тех, кто на том берегу,
что я помню о тех, кого знаю сегодня,
безоглядно ступая на каждом шагу
в полосу отчуждения
Лета Господня?

* * *

Пройду с утра вдоль нашего квартала –
по достопримечательным местам,
где женщина безумная читала
свои стихи собакам и котам.
Предполагаю, что, по крайней мере,
имея первобытное чутьё,
все эти замечательные звери
беспрекословно слушали её.
Безумия таинственные знаки
и слова эмпирический закон
воронежские кошки и собаки
по жизни понимают испокон.
...Как проклятый, карябаю бумагу,
а человеку надо по судьбе,
найти обыкновенную дворнягу
и взять её в товарищи себе.

Евгений
ДОЛМАТОВИЧ

ГОЛОСА ПОЛУДЕННОЙ ПЫЛИ

Рассказ

В припрыжку сквозь шелест пожухлой травы, сквозь стрекот кузнечиков, отплевываясь от тополиного пуха – незримые, лишь звонкостью голосов выдают они своё присутствие. Дети, подставляя обгоревшие лица палящему солнцу, замирают на миг, прищуриваются, выискивая на небе хоть одно облачко, похожее на кораблик, или на жирную лягушку, или на дракона... Но, увы, небо пустынно, как морская гладь, – такое же синее, безмятежное, бездонное. Такое же недосягаемое. А в центре – сияющая яркость, средоточие испепеляющего огня, солнце. А на лицах испарина, и тёмные разводы, и пух, и, местами, настырные слепни, сердито жужжащие, жаждущие увязнуть лапками в липком поте – ужалить, отведать свежей детской крови, высосать ясные детские глаза. Вокруг же брызжущие соком стебли, и угловатые мясистые листья, и зонтики белых маленьких цветов, полные пчёл и жуков-бронзовиков.

– Жарко, – говорит мальчик, в который раз прогоняя слепня.

– Жарко, – соглашается девочка, в который раз отмахиваясь от пуха.

И оба смотрят вдаль, на холм, где в знойном искажении, точно проклятый мираж, перебирает ветвями, вздыхает листвой старый тополь. Дуновения ветра срывают с него белые пушные облака – хоть какие-то облака, пусть и из пуха! – так июльский день тоскует о январской метели. Пух кружится, кружится и кружится, как снег, которого, кажется, никогда уже и не будет. Время застыло, потому что время мертво.

А дети упрямо идут к тополю сквозь заросли борщевика. Там, в прохладе тополиной листвы, дети надеются отыскать свои сны – увидеть, услышать, понять...

– Что нас там ждёт? – спрашивает девочка.

– Будущее, – эхом отзывается мальчик, – и прошлое, и что-то ещё.

Потерянные сны – когда-то, с наступлением ночи, они кошачьей поступью прокрадывались в комнату, мёдом ярких образов заливали глаза. Но поскольку время мертво,

• **Евгений Долматович** родился в 1986 г. в Ярославле. Детство прошло на Дальнем Востоке, где автор набрался сюжетов и идей для своих рассказов. Окончил Ярославскую военную финансово-экономическую академию. Публиковался в журналах «Урал», «Север», «Нева», «День и ночь», «Новый берег» и др. Член Союза российских писателей (2017). Живёт и работает в Ярославле.

лето никогда не закончится, и полдень длится вечность – всё жарче и жарче, и кажется, будто ночь – это тоже сон, наивная фантазия. Но нет! Ночь – это услада для глаз, иссушенных зноем, ослепших от полуденной яркости. Желанное отдохновение после долгих блужданий по пыльным дорогам, по заросшим тропам, по полям, где вдоволь душистого бурьяна, сквозь обжигающую вьюгу из мошкары и тополиного пуха. Ночь, темнота, звёзды над головой и тишина, от которой мурашки по коже. Тишина! Отнюдь не дневное безмолвие – отупевшее, ленивое, полное только если стрекота да жужжания. Нет, ночная тишина иная. Дети помнят это, хотя порой им кажется, что они помнят вовсе не тишину, а какие-то свои выдумки.

А борщевик благоухает, сочится сладостью, так и манит прикоснуться, обхватить всей ладонью и разломить эти мощные, но хрупкие стебли, насытиться живительной влагой. Особенно когда на зубах скрипит пыль, а с опухшего языка не сходит солоноватый привкус собственного пота.

Но дети знают, что борщевик так же опасен, как и гадюка в сухостое, как и угрюмый шершень, залетевший в комнату и яростно бьющийся об стекло. Очень опасен! Так что лучше не трогать. Если, конечно, не хочешь вспучиться жёлтыми волдырями, задохнуться в крике от боли и после – много дней спустя – выцвести. Борщевик выжигает с тела цвета, делает тебя похожим на пепел. Дети знают это по научению взрослых, верят в это. И потому дорога к утраченным снам пролегает сквозь заросли борщевика. В этом тайный смысл – как в старых сказках на страницах потрёпанных книг, которые когда-то читала мама. Путь должен быть тернист, иначе цель перестанет быть целью, путешествие превратится в прогулку.

– Глянь-ка! – вдруг произносит мальчик.

Он тычет пальцем – и там, поодаль, среди ядовитых стволов и чахлой бурой травы, скалится коровий череп. Однорогий, весь искрошенный, словно из мела, пожелтевший и давно уже лишённый плоти – её аккуратно сняли и унесли муравьи – этот череп таращится на детей. Таращится на них тьмой глазниц, в которых калачиком свернулась смерть. Сама же тьма навевает мысли о недоступной ночи. Значит ли это, что смерть и ночь – сёстры? Вряд ли. Дети ни разу не встречали смерть – заявившуюся на порог, тянущую костлявые пальцы. Не помнят они и как выглядит ночь. Поэтому тьма влечёт своей неизвестностью. А уж тьма чьих-то глазниц и подавно.

– Как думаешь, он заговорит? – спрашивает мальчик.

Девочка лишь пожимает плечами.

Тогда мальчик поднимает череп с земли, отряхивает его, прогоняя мокриц, и внимательно осматривает со всех сторон. Мальчик долго вглядывается в пустые глазницы, из которых, увы, уже расплескалась вся тьма. Солнечный свет выжег всё. Мальчик молчит, прислушивается. Он жаждет услышать биение сердца, ток крови; жаждет уловить дыхание, из которого непременно родятся и слова...

Но слышит он лишь как щетинится листьями борщевик.

– Я знаю, что нужно делать, – наконец говорит мальчик.

– Что?

Вместо ответа он пробует напялить череп себе на голову, а когда это не получается, просто прикладывает к лицу, поворачивается к девочке.

И вот это уже не её брат, но некто с коровьим черепом вместо лица. Девочка не боится. Она понимает, что её брат исчез, а на его место явился кто-то иной.

Кто-то из страны по ту сторону горизонта, страны, куда никогда не попасть; кто-то, живущий в прошедшем часе, который всегда будет «прошлым» и никогда «настоящим». Хранитель жутких тайн незнакомцев с чёрно-белых фотографий в шкафу, или чужих голосов, замолкших на веки вечные, или тех невнятных жутковатых образов, что наполняют голову, если уснуть под палящими солнечными лучами...

– Кто ты? – спрашивает девочка.

– Му-у-у-у! – отвечает некто.

– Чего тебе надо?

– Му-у-у-у!

– А ну говори!

– Му-у-у-у!

Тогда, рассердившись, девочка хватает коровий череп за единственный уцелевший рог, вырывает из рук мальчика и, размахнувшись, швыряет в кусты.

Мальчик сонно моргает, жмурится от внезапно яркого – после замогильной-то темени! – солнца и с надеждой смотрит на девочку.

– Ну?

– Ничего, – качает та головой, – коровьи черепа не умеют говорить, только мычат.

– Жалко.

Мальчик смахивает со лба паутинку – ту самую, что, наверное, долго и усердно прорастала внутри коровьего черепа, в его мягкой бархатистой темноте. Прорастала сама, без помощи паука, который бы ни за что не стал тут селиться. Зачем? Жизнь покинула пространство, где некогда хранился коровий мозг, пульсировала недалекая коровья мысль. С приходом смерти плоть окоченела, скукожилась и чуть позже была украдена муравьями. Взамен жизни в образовавшейся пустоте разместилась смерть, а пауки не питаются смертью – это всем известно. Стало быть, паутинка возникла сама собой!

– Жалко, – снова повторяет мальчик.

– Не переживай, – пытается подбодрить девочка. Но тут она меняется в лице, пытливо смотрит на мальчика. – А может, зря мы всё это? Может, нету там, на холме, ничего?

– Не болтай глупостей, – огрызается мальчик. – Тебе ведь это тоже снилось.

– Да, снилось. И что?

– Значит, нам именно туда. Значит, все ответы там.

– Но я ведь ничего не спрашивала! – упрямится девочка. – Мне не нужны никакие ответы, я не хочу ничего знать!

– Чепуха!

– Нет, не чепуха!

– А я говорю: чепуха!

Дети сердито глядят друг на друга, а над их головами порхает пух, и жужжат приставучие слепни, и шуршит листьями борщевик. Кроме этого ничего больше и нету – никаких тебе звуков, поле утопает в безмолвии, а безмолвие это сродни безмолвию смерти. От этого и бегут дети. Пусть и сами того не ведая, спасаются они от безмолвия, желая не столько заполучить ответы, сколько услышать голоса. Чьи угодно голоса, лишь бы не свои собственные.

Но пока что голоса звучат во снах, а сны эти потеряны, они стали чем-то навроде памяти – смутным образом, что вползает в голову через ухо, когда пытаешься уснуть. Дома ли, в душной спальне на пропахшей пылью кровати, или же растянувшись в тени под яблоней – как ни изворачивайся, а солнечный свет гонит сны прочь, ворует их. Остается только вспоминать самые первые сны, либо навеянные жарой фантазии.

Фантазии же, либо сны девочки были о том, как она танцевала на лугу, как смеялась – даже нет, вовсю хохотала! – как глотала тополиный пух. Да и не девочка она уже была вовсе, а взрослая девушка, полная сил и, видимо, сумасшедшая. Но в этом её сумасшествии лучилась жизнь, цвела и пела её смирившаяся и обретшая покой душа. Сама же девушка была очень красива – босая, с россыпью веснушек на лице и ромашками в волосах, с золотыми искринками в раскосых янтарных глазах, в белой хлопковой сорочке на голое тело. Этакая нимфа-плясунья, беззаботная безумица, уверенная, что если проглотить пушинку-другую, то та обязательно даст ростки – там, внутри, где сердце, – и однажды взовьется из груди ветвистым деревцем. Этого девушка ждала и жаждала, салютуя жуку-пожарнику, даря воздушный поцелуй сорвавшемуся с ветки листку или споря с собачьей головой, что испокон веку истлевала в канаве за оградой. Голова рычала и лаяла, но никто её не боялся, потому что у головы не было тела, а значит, она ни за кем не погонится, не укусит. Так и будет лежать эта голова червям на радость. Эта и ещё тысячи голов. И всё их посмертное веселье лишь в перебранках – рефлекс, застывший в густоте мёртвого времени. Вот как рассуждала та девушка-плясунья.

А ещё она регулярно дразнила брата, поскольку верила, что душа её – это не бесформенное облачко, вдыхаемое смертью из ноздрей покойника, но цветущее дерево. Смерть не властна над деревьями, ведь кора их слишком тверда для её старушечьих зубов. А что касается брата – душа его была похожа на заклинившую в стволе пулю, на неразорвавшуюся, погребённую под завалами бомбу.

Мальчику же, в свою очередь, тоже снилось ли, грезилось всякое. Как и сестра, он был взрослым – поджарый, загорелый до черноты мужчина с усами и бородой. Он носил вылинявшие джинсы и клетчатую рубашку с закатанными рукавами. Он упорно чинил старенький мотоцикл, найденный среди хлама в гараже, то и дело вытирал рукой густой едкий пот, ненароком пачкая лицо в машинном масле. Он щурился от солнца, курил сигаретку и поглядывал на сестру. Наблюдал, как она пляшет, как ходит колесом или крутит сальто, как ловит ртом пух или расчесывает ожог от крапивы, как болтает с бабочками, с пчёлами и остальными букашками. Он смотрел на неё беззлобно, только если с толикой грусти. Он не обижался на её подзуживания, не игнорировал её приставания и всегда отвечал на её дурацкие вопросы. Он знал, что когда закончит чинить мотоцикл, бросит её: умчится прочь по асфальтовой дороге, прочь из этого захолустья, где они оказались заперты, где прожили столько лет одни-одинёшеньки, придумывая себе развлечения, изредка наведываясь в пустующие дома соседей, ругаясь и мирясь. Он отправится в город, потому что боится застрять здесь, в этом онемевшем доме, навсегда. Дом – отражение своего хозяина, но у этого дома хозяев нет, он недостроенный, с комнатами, забитыми хламом, со скрипящими полами и сушёными мушиными трупиками на подоконниках. А в закутках, в затхлом мраке,

если повезёт, можно повстречать привидение – зыбкой тенью, отголоском ли, отражением в лопнувшем зеркале. И в мужчине они тоже есть – призраки, не важно былого ли, грядущего. И в сестре его есть. Поэтому тот мужчина и хотел уехать. Он не желал быть пыльным домом, он рвался стать вольной дорогой, петляющей сквозь поля и горы, или же шумным городом, в котором всё – загадка, и всё меняется. Пыль и паутина в человеке никому не нужны. А что касается призраков, что ж... Бывает, они являются и прогоняют человека, занимают его место и становятся им. Поэтому мужчина и чинил мотоцикл.

А ещё ему хотелось понять, что же на самом деле случилось? Почему всё обернулось так, как обернулось? Он знал, что сестре известно о его планах, он их и не скрывал. И здесь между ними пролегла глубокая пропасть: сестра давно уже сдалась, приучила себя видеть нечто – красоту, как она сама говорила, – в том, что имеет. Ей не требовалось знание, достаточно было травы под ногами, отдыха в тени яблонь, вкуса земляники, притаившихся под кустом грибов и пробирающего холода колодезной воды, песен и плясок, пуха на языке... А он не мог этим удовлетвориться: не мог закрыть глаза на то, что лето не кончается, и ночь не наступает, и что в целом мире не осталось никого, кроме них двоих. Он хотел знать.

Так, вспомнив эти свои сны, дети опять глядят друг на друга.

– Неужто тебе так этого надо? – с грустью спрашивает девочка.

– Надо, – кивает мальчик.

– Она выглядела счастливой, – говорит девочка. – Та тётенька, которой я стану, когда вырасту. Такая красивая.

– Красивая, – соглашается мальчик, – и спятившая.

– Пусть так! – хмурится девочка. – Всяко лучше, чем вырасти в того мрачного дядьку и днями напролет ковыряться в этом ржавом драндулете.

– Это не драндулет, а мотоцикл, – говорит мальчик. – И однажды я отыщу его в гараже, и он увезёт меня отсюда в город. Подальше от тебя.

– Ну и катись! – обижается девочка.

– А ты жуй свой пух, дура! – обижается мальчик.

И они угрюмо плетутся дальше – молча, сопя и пофыркивая, отчаянно стараясь не глядеть друг на друга. И длится это до тех пор, пока дремучие заросли не расступаются, открывая вид на зелёный холм, и на петляющую тропинку, уводящую прямиком к одинокому старому тополю. Вот так всё просто: никакого тебе тайного смысла из лживых маминых сказок, путешествие и впрямь оказалось всего-навсего прогулкой.

Взойдя на холм, дети настороженно косятся друг на друга, затем поворачиваются и смотрят на поле борщевиков – белая бесконечность с редкими вкраплениями зелёного и жёлтого: цветы и листья. И так вплоть до самого горизонта. И если бы не жара, если бы не безжалостное солнце и струящийся по вискам пот, можно было бы подумать... да...

Мальчик закрывает глаза и, стараясь удержать отпечатавшуюся на сетчатке белизну, силится вспомнить зиму. Вьюга, снежная крошка в воздухе, пар от дыхания, раскрасневшиеся с мороза щёки и нос, и как трудно бежать по снегу, и как мягко в него падать, смеяться, а после... после...

...чтоб крепкие папины руки подхватили, обняли, поправили шапку на голове...

Так мальчик пытается вспомнить зиму, и у него это почти получается. Почти. Но тут больно обжигает запястье: слепень, жужжа, взмывает в воздух, вьётся над головой.

Мальчик вздыхает: нет, не будет больше никакой зимы, даже грозы не будет, вечернего дождя и тумана поутру, как и вечера с утром не будет. Один только нескончаемый полдень, изматывающая жара, вечное молчание...

Мальчик оглядывается на сестру и видит, что та стоит и смотрит на тополь, слушает его усыпляющий шелест, который и не шелест вовсе, но шёпот. Сам же мальчик не понимает этого шёпота, слова тополя предназначены не ему.

– Что он тебе говорит? – спрашивает мальчик, подойдя к сестре.

– Что я ему снюсь, – отвечает девочка. – И всегда снилась.

– Как так?

– Не знаю. Он говорит, что он здесь уже очень давно, и всё это время ему снилась я. Я и есть его сны.

– А я?

Не дождавшись ответа, мальчик отводит взгляд и вдруг замечает в земле, среди проступивших наружу корней, череп. Ещё один, на этот раз человеческий. Он скалится на мальчика, манит его замогильной темнотой своих глазниц. Когда-то там были глаза, видавшие всякое...

– Может, хоть он заговорит? – спрашивает мальчик.

Девочка выглядывает у него из-за плеча, вздыхает.

– Мне кажется, черепа вообще не могут говорить, – произносит она.

– Почему?

– Потому что черепа мертвы, а смерть – это всегда молчание. Отсутствие голоса, звуков...

– Одно он точно может сказать, – неожиданно заявляет мальчик.

– Что именно?

– Что он – наше будущее.

На это девочка качает головой, отворачивается.

– Я не хочу, чтоб этот череп был моим будущим, – тихо произносит она. – Уж лучше я останусь сном, который снится одинокому дереву.

Она снова вздыхает, садится на землю и прижимается затылком к стволу тополя. Задумчиво глядит на бескрайнее поле борщевиков.

– Откуда мы вообще здесь взялись? – спрашивает она, зевая.

Мальчик порывается что-то ответить, как-то встряхнуть сестру, но вместо этого вновь смотрит на череп, вглядывается в мёртвую черноту его глазниц. Потом, вспомнив что-то, прикладывает череп к уху, как делал когда-то давным-давно, на море, слушая голоса русалок внутри раковины.

Мальчик вслушивается.

И слышит шёпот.

– Я твоё прошлое, – говорит череп.

Тогда мальчик осторожно возвращает череп туда, откуда взял, сам же усаживается рядом с сестрой, берёт её за руку и тоже смотрит на поле борщевиков, на линию вдали, где поле соединяется с синевой неба. По-прежнему ни единого облачка, и никогда уже не будет.

– Ты всё понял, да? – тихо спрашивает сестра.

– Наверно, – отзывается мальчик. – А ты?

– Не-а, – отвечает она, – ничего я не поняла. И не хочу.

– И правильно, – соглашается мальчик.

– Так откуда всё-таки мы пришли?

Он поднимает руку и указывает на линию горизонта.

– Вон там, – говорит он, – с другой стороны. Там наш дом.

– А когда мы пойдем назад?

– Давай чуть попозже, хорошо? Я устал.

– Хорошо.

Мальчик кладет голову ей на плечо, закрывает глаза и мгновенно засыпает. Ему снится всё тот же сон: что он взрослый мужчина с усами и бородой, ремонтирующий старый мотоцикл. Взрослый мужчина, рвущийся уехать как можно дальше. По асфальтированной дороге уехать. В город, который где-то далеко-далеко.

В этот раз ничто не тревожит сны мальчика, солнечные лучи не в силах пробиться сквозь густую листву, настырные слепни оставляют в покое, а сам холм вовсю продувается вольным ветром, гонящим жару прочь. И поэтому мальчик наконец видит, что мужчина починил свой мотоцикл. Работа, которая, казалось бы, никогда не закончится, таки закончилась. И вот мужчина вытер пот с лица, сел на потёртое кожаное сиденье и неспешно поставил ногу на педаль стартера. Мотоцикл завёлся с первого раза – взревел, нарушив привычную сонную тишину округи, обдав пыльный дом клубами чёрного дыма. Мужчина улыбнулся, поискал глазами сестру. Он не хотел задерживаться, его звала дорога. А значит, настало время прощаться.

Но сестры нигде не было видно. Мужчина искал её в саду, и на лугу, где она обычно пела и танцевала, и у колодца, и даже обошёл соседние дома. Сестра бесследно исчезла, как бесследно исчезали те странные сны, которые давно уже изводили мужчину: что они с сестрой – совсем ещё дети – пробираются сквозь заросли борщевика к холму на горизонте. Холму, где рос одинокий тополь. Это был странный, тревожный сон, у которого не было ни начала, ни конца. Дети из того сна никогда не доходили до холма. Они терялись в ядовитых зарослях, спорили друг с другом, зачем-то разговаривали с коровьим черепом. Мужчина не рассказывал сестре об этом, так как сестра давно уже повредилась в уме, незачем бередить ей душу. Но однажды он таки собрался и дошёл до того поля, постоял, осматриваясь, выискивая холм из своего сна. Холм он и вправду нашёл, только вот никакого тополя на нём не было. Странные всё же сны. И сестра его тоже странная. И вот она исчезла – в самый неподходящий момент. Но мужчина недолго думал, стоит ли искать её дальше. Взамен он решил написать ей записку. В конце концов, сестра и так всё знает. Возможно, оттого и исчезла – спряталась, услыхав рёв мотоцикла. Тогда мужчина накарябал на листке бумаги несколько слов и приколол листок гвоздём к двери дома. После сел за руль мотоцикла и уехал.

Он мчался сквозь дорожную пыль и полуденный зной, навстречу неизвестности, оставляя за спиной всё то, что его тяготило. И вот под колесами возник асфальт, ветер хлестнул в лицо, а по краям замелькали незнакомые пейзажи. Мужчина улыбнулся, рассмеялся, радостно закричал. Он был свободен, наконец-то свободен! Он с упоением вдыхал запах бензина, исходящий от мотоцикла, и слушал грозный рев двигателя, рвущего ленивую послеобеденную тишь, давно

уже завязшую в ушах. Мужчина ощущал под собой жар – такова была жизнь машины, которую он смог выхватить из лап смерти, отчистить, починить, натурально воскресить. Это стало синонимом перемен, это дарило надежду. А впереди – там, за холмами, его ждал город. Город...

И мужчину столь захватило нетерпение, он буквально захлебнулся новыми впечатлениями, что не заметил, как изменился пейзаж. Густые леса с затянутыми тиной прудами, живописные озера, луга, полные цветов, и стремительные реки – всё исчезло. Обернулось выжженной пустыней, где тут и там проступали обугленные чёрные стволы – всё, что осталось от росших здесь некогда деревьев. Стало жарче – настолько, что асфальт плавился под колёсами, прилипал к покрышкам. Лицо и руки обожгло, но мужчина упрямо гнал вперед. Он не остановился даже тогда, когда его кожа пошла красными пятнами, вздулась и начала облезать. Не остановился, когда в венах вскипела кровь. Мужчина не чувствовал боли, он желал лишь одного – как можно скорее увидеть город. И тут в бензобаке что-то хлопнуло, повалил дым, мотоцикл закашлялся и заглох. Мужчина бросил его и только теперь заметил, что покрышки давно расплавились, смешавшись с мягким, точно патока, асфальтом. Это было не важно. Город был совсем рядом, оставалось подняться на холм, а с него...

И мужчина пошёл. Его одежда истлела, плоть обуглилась, комками повисла на костях. Его глаза забурлили в глазницах, как бурлит в кастрюле выкипающая вода. Глаза выплеснулись на щёки. Но и на это мужчина не обратил внимания. Пусть он лишился глаз, но по-прежнему видел – каким-то внутренним взором. Он верил. Он знал.

И потому, когда он – в сущности, уже скелет – поднялся на холм и глянул на город, ни единого звука не вырвалось из его груди, в которой не осталось лёгких. Как не было и города перед ним. Всё та же выжженная до состояния стекла пустошь, остовы домов, искорёженные от гари кузова машин. Здесь солнце излилось на землю, вызрело огненными грибами и убило время. И тех из жителей, кто был рядом, развеяло в ослепительном сиянии. А их отныне бесхозные тени были пригвождены к стенам, вросли в них, отпечатавшись размазанными силуэтами. Но среди жителей были и другие, кому повезло меньше. Их черепа усеяли площади и улицы, кости выгорели до угольков. Уставившись в пылающее небо пустыми глазницами, эти несчастные скалились и вопили. Так нескончаемый вопль плыл над развалинами, смешивался с едким чёрным дымом. А вокруг с воем проносились огненные смерчи, пожирая то немногое, что ещё уцелело.

Город был мёртв.

И тогда мужчина всё понял. Он хотел было разрыдаться, но у него не осталось ни глаз, ни лица, а в слёзных протоках ютился огонь.

И вот этот дымящийся опаленный скелет стоял и смотрел на руины дымящегося опалённого города. Мёртвое таращилось на мёртвое. А потом скелет развернулся и побрел обратно – туда, откуда так стремился сбежать. Нет, разумеется, он не собирался возвращаться к сестре – зачем пугать её своим видом? Зачем нести ей столь удручающее знание? Но оставаться в мёртвом городе ему тоже не хотелось. Поэтому он просто шёл по дороге, не обращая внимания на то, как остекленевшая пустыня вновь сменяется лесом, прудами и озёрами, и душистыми лугами с журчащими реками, и как рассеивается чёрный дым, ветер уносит запах гари, и как твердеет под ногами асфальт...

В какой-то момент он не выдержал и свернул с дороги, побрёл через поле, касаясь костлявой рукой высокой травы и кустов, не чувствуя больше их мягкости. А затем его обугленные пальцы нашли и листья борщевика. Но он не отдёрнул руку, так как уже не боялся схватить ожог, не боялся выцвести и превратиться в пепел. Он знал, что сам уже стал пеплом, и всё, чего ему отныне хотелось, – взобраться на холм, в последний раз заглянуть в небесную синеву, которая как море, как океан из детских воспоминаний; взглянуть на бескрайнее поле цветущего борщевика, которое как заснеженная пустыня, и, наконец, обрести покой.

Так он и сделал, присев на холме и обратив лицо ввысь.

Он подумал о сестре. Ему захотелось обнять её, сказать, что она права – мертвецы не могут говорить, только вопят в нескончаемой агонии, так что молчание порой не так уж и плохо. Но тут подул ветер, и кости его рассыпались в пыль. Череп же свалился в душистую траву, да так там и остался.

Таков сон мальчика.

Девочке же, которая засыпает чуть позже брата, тоже снятся сны.

И в этих снах она осталась совершенно одна. Пускай и взрослая девушка – плясунья-хохотушка, лесная нимфа, – она испугалась жуткого рёва, кинулась прочь. Она прокралась меж кустов смородины, юркнула в берёзовую рощу и разыскала там давно оставленную лисью нору. Забравшись внутрь, свернулась калачиком.

Девушка понимала, что грозный рёв этот – вовсе не какое-нибудь чудище. Да и откуда им тут, собственно, взяться, чудищам этим? Нет! Грозный рёв, который она услыхала, – это перемены. А перемены пугали её, потому что, пусть и не зная наверняка, она догадывалась, что именно перемены убили время, сделали летний день бесконечным. Не сразу, но она научилась жить с этим. Научилась ценить красоту застывшего мига – словно бабочку в янтаре, пускай неживую, но всё равно прекрасную. В конце концов, чем они сами, как и всё окружающее, отличаются от этой бабочки?

Если так рассудить, мир тоже застыл в янтаре из солнечного света и летней жары – мёртвый мир и мёртвое время. Никакого «вчера», никакого «сегодня» и уж тем более никакого «завтра». Звучит ужасно, но стоит ли тогда слушать? Ведь если не допытываться ответов, не требовать, чтоб черепа заговорили, не искать утраченные сны, которые в голой сути своей кошмары минувшего, то... Остаётся красота.

Этим и жила девушка, сочиняя различные небылицы, танцуя, смеясь, наслаждаясь обществом жуков-пауков, да той же собачьей головы, потявкивавшей из канавы за оградой. И так до тех пор, пока не раздался ужасный рёв. Поэтому девушка спряталась, затаилась и уснула. Ей снилась она сама же, снился её брат. Во сне этом они были ещё детьми, шли куда-то через высокие ядовитые столбы и мясистые листья, отмахивались от назойливых слепней, болтали с коровьей черепушкой. А после был холм, была шелковистая трава под ногами и высокий старый тополь, который что-то шептал – устало шептал, как старик. Это было чудно, пусть подобные сны ей снились и раньше: путь через борщевик, старый тополь на холме, те слова, что он говорил, – что-то важное, но что именно девушка не запомнила. И теперь опять не запомнила, лишь открыла глаза, сладко потянулась, зевнула и осторожно выбралась из норы. Вокруг было тихо, солнечно-ярко, в небе порхали-кружили пушинки – всё как всегда.

Девушка побежала к дому, хотела найти брата. Но в доме того не оказалось. И нигде не оказалось. И мотоцикла его тоже не было.

Тогда-то девушка и поняла, что за звук она слышала – перемены: брат наконец починил свой ржавый драндулет, бросил её одну. Где-то здесь она обнаружила и его записку, которую проглядела в первый раз. Несколько скупых слов. Брат уехал в город, надеялся отыскать ответы, или родителей, или хоть кого-то...

Вранье! Он просто сбежал.

И, скомкав записку, девушка замерла на пороге, вздохнула и, помедлив, шагнула в теперь уже по-настоящему пустой дом. Она потерялась в его комнатах, заблудилась среди пыли старинных книг со сказками и выцветших фотографий с незнакомцами. Она запуталась в паутине ничейных вещей. Её впервые испугало молчание дома – немота заброшенной могилы, безмолвие смерти. Ей стало трудно дышать от нахлынувшего прошлого – затхлого, как воздух на чердаке, неизбежного, как осиные гнёзда под крышей. Девушка почувствовала, что отравилась прошлым, заболела – настолько ей сдавило грудь. И тогда она бросилась прочь из дома – в кипящее золото летнего дня, в июльский зной, навстречу тополиному пуху, стрекоту жучков и голосам листвы. В груди свербело: что-то будто бы извивалось там, внутри, рядом с сердцем. И девушка побежала ещё дальше – от дома, от двора, ничего не разбирая перед собой, ещё и ещё. Пока не запыхалась вовсе, не споткнулась и не упала.

А когда поднялась, не сразу осознала, где именно очутилась. Борщевики сочились соком, благоухали травяной сладостью, манили своими мясистыми, в жёлтых прожилках, листьями, предлагали свои ядовитые объятия. А там, сразу за ними, возвышался одинокий холм из её полузабытых снов.

И она неспешно пошла к нему, пересекла поле, взошла на холм и огляделась. Безоблачное синее небо, палящее солнце и безграничная белизна маленьких белых цветов. А у ног её лежал обугленный человеческий череп. Девушка присела, ласково погладила череп, вздохнула. Смахнув слезу, она легла на спину, закрыла глаза и попыталась уснуть. Ей хотелось вернуться в прошлое – в своё детство, которое она регулярно видела во снах. Ей хотелось сидеть в тени большого старого тополя, обнимать своего мирно спящего брата, думать о чём-то... А ещё лучше ни о чём не думать. Просто быть...

Быть...

Так девушка и лежала, когда её грудная клетка вдруг раскрылась, и из алого нутра возник первый росток, увенчанный одним-единственным зелёным листком. Росток этот уверенно потянулся к солнцу, зачерствел корой, распростёр свои ветви и сделался высоким тополем. Он впитал в себя тело девушки, нежно обнял корнями обугленный череп, тяжело вздохнул и погрузился в дрёму.

И грезятся ему с тех пор голоса, несущиеся над крышами опустевших домов, над пожухлой травой, над густыми лесами, над полем борщевиков, – задорные, звонкие, будто взмывающие ввысь, к солнцу, в облака из пуха.

Но то голоса отнюдь не детей.

То голоса полуденной пыли.

Иван
МАЛОВ

СТИХИ

ПО РАСПИСАНИЮ В НОЧЬ

1

В ночь увозя пассажирский покой
И свет оконных мельканий,
Двигался поезд бегущей строкой
Темою встреч-расставаний.
Двигался по расписанию в ночь
Точь-в-точь, точь-в-точь...

2

В ночь уходящий мужчина
Смотрит на спящего сына.

Медлит ступить на порог
Всех невозвратных дорог.

Не провожает жена.
Сонно-угрюма она.

«Лучше не будет!» – сказала.
Вышел. На поезд. К вокзалу.

Горечи замкнутый круг –
«Лучше не будет!»

...А вдруг?..

3

Поезд – по расписанию в ночь
Точь-в-точь, точь-в-точь.

СОЛНЦЕ САДИЛОСЬ НА ЛЕТНИЙ ПРОСЁЛОК

Степь... От следов машин в узорах
Просёлок, взволновавший сердце,
А солнце – видом с косогора,
Оно – что хлеб на полотенце!

• **Иван Малов** родился в 1956 г. в с. Кинделя Ташлинского района Оренбургской области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор нескольких поэтических сборников. Публиковался в «Литературной газете», альманахах «Поэзия», «Истоки», «Гостиный двор», «Паровозъ», журналах «Урал», «Уральский следопыт», антологиях русской поэзии. Лауреат Региональной литературной премии имени П. И. Рычкова, Международного поэтического конкурса «45-й калибр». Член Союза писателей России. Живёт в Оренбурге.

* * *

Глубокой осенью в ноябрьской округе
Снег выпал. Дни суровей и суровей.
И – в ночь замёрзла до весны под небом
Речная и озёрная вода.
С небесными земные отраженья
По воле свыше, чудные, исчезли...

Дай Бог с весны взор волновать им снова
В горизонтальных хрупких зеркалах.

* * *

Ещё в полях белеет снег...
Ф. Тютчев

Ещё стерня лучится светом,
Но знают пахари: пора!
Переворачивают лето
В полях плугами трактора.
Они гудят, и вся округа
Полна урочного труда.
Просёлком,
Чтоб сменить друг друга,
Вновь едут пахари сюда,
Где будет осень, вслед – иное:
Зима, и до весны бело,
И нивы спят, храня родное
Земли-кормилицы тепло.

* * *

Печальной осени картина,
Душе созвучная, видна.

В подлеске пёстром паутина.
В отаве летняя копна
Передо мной стоит, грустна:
В погоде пасмурной причина.

Промокший ветер в царстве этом
Дыханьем листья шевелит.
Молчат луга, в туман одеты,
И сырость воздух тяжелит.

* * *

Сушь. Ни тучки в степной стороне.
Хоть бы ветры прохладой подули!
Без дождя в знойный день в тишине
Часто никнет округа в июле.

Дождь прольёт – снова птицы поют,
И земля окунается в негу,
И укроп – огородный салют –
Торжествующе тянется к небу...

ПОЭТА СВЕТИТСЯ ОКНО

...Чернильница моя...
А. С. Пушкин

Он жжёт свечу. В округе каплет
С вечерних крыш – весны пора.
Плывёт чернильницы кораблик
Под белым парусом пера.

Плывёт. Плывёт. Ещё страница!
А на дворе уже темно...
Вновь будет Пушкина окно
В столице за полночь светиться.

ЗИМНЕЕ ЛЕТО

Я на зимней стоял остановке.
Холод, он мне из глаза слезой
Грусть навеял о луге с росой –
Летнем луге, где божьи коровки,
Утро с тучами, стадо коров,
И – автобус тут, явь остановки,
Где крещенский мороз – будь здоров!

ХУДОЖНИК. 1945

Послевоенный тёплый вечер.
Солдат, уставший от ходьбы,
Вошёл в село, женою встречен
У ветхой крайней городьбы.

Глядели вдовы – счастья судьи –
На радость редкую четы
И на плетни склоняли груди,
Как переспелые плоды.

Глаза печальных вдов уральских
Седые видели виски.
Крещенским снегом – не по-майски! –
Его скрипели сапоги.

Художник, он холсты большие
Замыслил. Кистью передать:
В тылу в трудах, в тревогах мать,
Жену, односельчан в России
И старика-отца в ночном...

О замыслы!.. Холсты живые
О подвиге в краю родном.

Инна
ЧАСЕВИЧ

РАССКАЗЫ

ТОСЯ И ЗОСЯ

Кошки эти не были сестрами – это горе их общее, военное, родными сделало. Тося хозяев потеряла, когда бомбёжка началась. Так ей жутко было, что забилась она в подвал соседнего дома и несколько дней носа на улицу не показывала, даже голод не смог страх в ней пересилить. А когда решилась в свой дом вернуться, в нём уже не было ни хозяйки, ни её белоголового сорванца – ушли они от войны спасаться. Поискали-поискали любимицу свою серую и ушли. В самом деле, не оставаться же им из-за кошки, пусть и «родной», под бомбежками. Вот так Тося одна оказалась... Правда, тогда её Муркой звали, но кто же об этом знал, кроме неё?!

А Зося родилась уже под грохот разрывов и треск пуль. Кое-как попитавшись пару месяцев молоком худющей, с ввалившимися боками матери, в один из ночных артобстрелов она потеряла и родительницу, и с ней жиденькую, но живительную еду... Погибла бы она от голода и страха, но на её счастье, спасаясь от грохота и огня, прыгнула в «зоськин» подвал Тося. Беда сближает не только людей – две одинокие кошки стали вместе бороться за жизнь.

На их счастье в этом дворе вскоре появилась полевая кухня, где варили кашу с настоящим, хоть и жестковатым, но всё-таки мясом. Привлечённая умопомрачительным ароматом солдатского супа решилась Тося на свою знаменитую вылазку. Пока готовился обед, она набралась смелости и дерзко выхватила кусок мяса прямо из котла! После чего, благородно разделив его с Зосей, съела тут же, урча и давясь, и даже не думая покидать место преступления.

Впрочем, терять ей было уже нечего – или смерть от голода, или от рук повара, но зато на сытый желудок! Она

• **Инна Часевич** окончила Нижегородское театральное училище и Литературный институт им. Горького. Пишет сценарии, пьесы, сказки, повести, рассказы. Печаталась в литературно-художественных журналах. Победитель городского литературного конкурса «Вдохновение» (Анапа, 2022), лонг-лист Открытого международного литературного конкурса им. В. Г. Короленко (Санкт-Петербург, 2022), призер IV Международного литературного конкурса «Лохматый друг» (Москва, 2018), дипломант I Международного конкурса «Линия фронта» (Москва, 2020), лауреат Международного литературного конкурса им. Исаковского «Связь поколений» (Смоленск, 2022) и др. Член Союза детских и юношеских писателей ДетЛит.

не только получила ожог передней лапки, но и неожиданно вызвала восхищение изумлённого бойца, на глазах которого произошло это выдающееся событие. С того дня Тося с Зосей стали регулярно «столоваться» на солдатской кухне и обрели если не дом, то некое подобие сытой жизни рядом с человеком. Они приобрели упитанный вид, лоснящуюся на солнце шёрстку и полную уверенность в том, что их кошачья жизнь в общем-то неплохо удалась. Причём бойцы не только им «паек» выделили, но и именами «наградили». У одного из солдат дома дочки маленькие остались, Антонина и Зинаида. Вот он почему-то живность Тосей и Зосей назвал – то ли от тоски по детям, то ли просто имена подходящие нашёл... Несмотря на рвущиеся иногда совсем рядом снаряды и дымовые завесы, которые так не любили «подруги», уходить кошки отсюда не спешили. Люди рядом хорошие: и погладят, и на руки возьмут, про кормёжку и говорить нечего – сытно и регулярно – о чём ещё мечтать?

Но в один далеко, как выяснилось, не прекрасный для кошек день во дворе не осталось не только солдатской кухни, но даже её сладостного и притягательного запаха. Фронт «откатился» на запад. Тося с Зосей остались один на один с жизнью, в которой их ждало мучительное чувство голода и одиночества. Заботливый повар оставил им небольшой запас мяса и каши в знакомых мисках. Но он быстро закончился, как быстро заканчивается всё хорошее. Пришлось подругам переходить на «подвальный» корм, а его ой как нелегко было добывать! Крысы давно покинули город, чувствуя приближение бомбёжек. Только мыши ещё кое-где оставались в подвалах, но потом и они куда-то пропали. А те, что ещё встречались, были слишком осторожны и стать добычей кошачьей парочки соглашались крайне редко.

За долгое время одинокой жизни подруги обшарили все уцелевшие подвалы, все полуразрушенные дома на доброй половине города. Затем в ход пошла и вторая половина – кошки решились даже перебраться по остаткам моста, взорванного нашими при отступлении ещё в сорок втором. Ежеминутно они рисковали сорваться и навсегда пропасть в речной глубине, но голод упорно гнал их на другой берег. «Там обязательно будет что-то съестное» – эта надежда придавала им сил, а лапам – ловкости. Вылазки на другой берег стали совершаться постоянно, но вскоре и они перестали приносить богатую или хотя бы хорошую добычу... Через несколько месяцев у подруг не то чтобы не осталось шанса выжить, им уже и жить-то не хотелось. Да и разве это была жизнь? Постоянная борьба с голодом, страшное одиночество и чувство ненужности, дрожание от холода и отражение набегов озверевших от собственного существования бродячих собак.

К тому времени, когда в полуразбитый дом, в подвале которого обитали подруги, въехали жильцы, Тося с Зосей совсем одичали, оголодали и почти перестали быть похожими на представителей благородного семейства кошачьих – сквозь тонкую кожу со свалявшимися клоками шерсти были видны кости, морды вытянулись, в тусклых глазах прочно засел страх. Вернувшись после очередной «вылазки» по подвалам, они обнаружили, что в их «родном» дворе, который после ухода бойцов они так и не решились покинуть, появились люди! Первой осмелилась обследовать территорию, занятую кем-то чужим, Тося как самая старшая и смелая. После того как она стащила тот самый, «судьбоносный» кусок мяса из

дымящегося котла полевой кухни, Зося раз и навсегда признала в ней старшую. Она теперь без подруги и шагу ступить не могла, да особо и не рвалась. Вот когда Тоська всё разведает, вынюхает, «мявкнет» призывно, тогда можно смело к ней присоединяться.

Шатаясь на ослабевших лапах, старшая подошла к закрытой двери и начала её обнюхивать. Тут же из квартиры послышался собачий лай – это Муха, маленькая белая собачка новых жильцов, почуяв кошачьих, чётко обозначала свою территорию и намекала непрошеным гостям, что в доме уже есть хозяин, вернее, хозяйка, а все прочие здесь лишние. Тоська отступила на «заранее подготовленные» позиции – в подвал, но сдаваться не собиралась – это был единственный шанс выжить, и она твёрдо решила воспользоваться им до конца! Терять подругам было нечего. Они охотно обменяли бы всю свою оставшуюся жизнь на кусок мяса или даже на самую завалящую рыбёшку – от души наесться, а потом и помирать можно.

Намерение во что бы то ни стало познакомиться с новыми жильцами Тося красочно продемонстрировала на следующий день. Всю ночь, дрожа от сырого ветра, она пролежала на ступеньках дома, чудом не рассыпавшихся от бомбёжки, боясь пропустить появление людей.

Утром, когда дочки новой жилицы вышли из квартиры, кошка как бы невзначай вышла, вернее, выползла им под ноги...

– Какая худенькая! – ужаснулась та, что постарше.

– Ой, правда! Бедненькая! Она, наверное, есть хочет! – поддержала её белобрысая сестра с двумя тощими косичками.

– Давай попросим маму её к нам забрать! Жаааалко её!

И они тут же, долго не раздумывая, взяли Тосю на руки и потащили домой. Муха явно не обрадовалась этому вторжению. Она лаяла, скулила, прыгала вокруг девочек, всем видом выражая крайнюю степень недовольства. Но мать девчонок – бывшая детдомовка, врожденную доброту и сострадание которой ко всему живому не смогли «уничтожить» ни трудное детство, ни голод, ни жестокая война, ни прочие жизненные передряги, тут же коротко бросила дочкам:

– Пусть живёт.

Потом повернулась к Мухе и, покачав головой, сказала:

– И чего ты возмущаешься? Тебя, значит, можно было приютить, а эту доходягу нет?! Где же твоя звериная солидарность?

Это была чистая правда – маленькая белая собака прибилась к ним на Украине, куда всю семью вывезли оккупанты из родного Воронежа. Была она не простая собака, а самая настоящая артистка – в бродячей труппе цирковой служила. Хозяев её война застала недалеко от села, куда привезут потом немцы выгнанных их своих домов воронежцев. Кто-то из артистов вместе с воспитанниками четвероногими сразу под бомбёжками погиб, кто-то добровольцем на фронт ушёл, а белая собачка потерялась во время немецкого наступления и осталась в селе. Когда в пустующий двор вошли новые жильцы, навстречу им выскочила Муха и начала показывать всё, чему её научил прежний хозяин: танцевать на задних лапах, ходить на передних, крутиться вокруг своего маленького тельца. Девчонки, смертельно уставшие и напуганные долгой тяжёлой дорогой, остановились как заворожённые, радуясь неожиданному концерту. На их измученных, худых, гряз-

ных личиках с облезающей кожей впервые с начала войны засветилось подобие улыбки. Когда собачка показала все фокусы, которым научил её дрессировщик, она наклонила маленькую голову, словно ожидая похвалы. И тут раздались аплодисменты, которых она так давно не слышала и по которым так соскучилась! И пусть они были тихими, почти неслышными – военные дети научились скрывать свои чувства, – но всё же это был давно забытый успех.

Когда-то трюками Мухи восхищались не только маленькие, но и взрослые зрители, и неизвестно даже кто из них больше радовался, глядя на арену и белую маленькую собачку на ней. Они на радостях кричали, громко хлопали, смеялись от души, и четвероногая артистка всегда была так счастлива, что частенько отказывалась от ужина – казалось, она была сыта своим успехом и любовью тех, кто приходил на представление...

Всё первое военное время потерявшаяся Муха жила во дворе заброшенного дома, питаясь кусочками хлеба, которые бросали ей сельчане. Когда особенно везло, ей удавалось разжиться и миской молока, налитой особо сердобольными. Но взять к себе в дом маленькую собачку никто не спешил – все справедливо рассуждали:

– Сейчас не до жалости. Война. Самим бы выжить, а тут – лишний рот.

Вот почему, когда во дворе появились люди, ей так захотелось им понравиться, чтобы они не прогнали её с насиженного места, потому-то она и устроила им самое настоящее цирковое представление. Успех превзошёл все ожидания: Муху не просто оставили жить во дворе, она, о счастье (!), стала самым настоящим маленьким членом семьи.

Обычно Муха гостям радовалась, но вот одного полицая, злого как собака, хоть и нехорошо славных животных таким сравнением обижать, не любила. Он всегда недобро щурился, когда смотрел на старшую дочку хозяйки, кудрявую черноволосую девочку, и даже как-то процедил сквозь зубы: «Жидовское отродье». Однажды он зашёл во двор, по-хозяйски сорвал яблоко с дерева у плетня, осмотрелся, заглядывая во все закутки, и не спеша двинулся к дому. Муха с лаем выскочила ему навстречу, а тот винтовку с плеча снял и в малявку выстрелил. Как же она крутилась, визжала – пыталась шею свою раненую зализать... Когда изверг ушёл, хозяйка собачку на руки и в дом – выхаживать. И ведь выходила! Только старалась больше её во двор не пускать, особенно если полицаи или немцы мимо шныряли.

После освобождения села, хоть и не сразу, семья вернулась в родной Воронеж, и собаку с собой взяли – не смогли хвостатого члена семьи на улицу выкинуть.

Вот и кошку хозяйка тут же согласилась взять, хоть и понимала – времена тяжёлые, война идет, людям есть нечего, не то что животным, да ещё детей одной поднимать надо – муж-то погиб на фронте... Как только дочки понеслись в школу, солидно опаздывая туда из-за общения с кошкой, а хозяйка, положив в старую консервную банку маленькую аппетитную рыбку, принялась готовить обед, Тоська тут же шмыгнула в незапертую дверь и отправилась за подругой.

Зоська, прождав старшую всю ночь и потеряв всякую надежду увидеть её живой, завалилась на бок и, вытянув худющие лапы, приготовилась умирать. Она закрыла глаза, и перед ней пестрой вереницей потянулись воспоминания. Мама –

совсем маленькая, такая же худая, как сама Зося сейчас, с испуганными янтарными глазами. Старенький подвал... А вот Тося, крадущая мясо из дымящегося котла... Потом в них появился рыжий пёс, на которого совсем недавно она, сама от себя не ожидая такого, набросилась со звериным отчаянием, защищая подругу, повредившую переднюю лапу.

Скоро эти картинки, образующие причудливые узоры калейдоскопа жизни, стали совсем фантастичными. Она увидела живую и невредимую Тоську, а перед ней – настоящую, маленькую, вкусно пахнущую свежестью половину рыбёшки. Постепенно эта картинка стала такой реальной, что Зосе стало чудиться, будто она слышит призывное «мявканье» подруги и даже чувствует, как та старательно облизывает ей мордочку, пытаясь привести в чувство. Зосе совсем не хотелось просыпаться, чтобы опять увидеть тот же ободранный холодный подвал, ощутить страшное одиночество и острое чувство потери подруги. Но видение не исчезало, и Зося большим усилием остатков воли заставила себя открыть один глаз.

Тоська из сна почему-то перекочевала в реальность и всё настойчивее пыталась заставить младшую подняться. Та честно хотела это сделать, но лапы Зоськи не слушались и расползались во все стороны, как в пору не очень далёкого детства, поэтому ей никак не удавалось опереться на них и сделать хоть какое-то подобие шажка. После многочисленных бесплодных попыток подняться она впала в отчаяние, легла на пол, закрыла глаза и перестала реагировать на голос подруги. Тогда Тоська, которая никогда в жизни не имела своих котят, а значит, и не имела даже малейшего представления, как их носят матери-кошки, Тоська, в которой жизнь тоже еле-еле теплилась, схватила подругу за шкирку и потащила к лестнице. Её отчаянное упорство вселило в младшую надежду, и Зося сама стала пытаться переставлять лапы по ступенькам. Этот подъём длился целую вечность. Наконец подруги оказались на крыльце. Теперь предстояло «уговорить» новую семью принять ещё одну «жилицу»...

Но уговаривать никого не пришлось. Как только хозяйка квартиры увидела «живописную» картину: Тоську, которая поддерживала за шкирку еле стоящую на дрожащих лапах Зоську, тут же прослезилась и, конечно же, определила к себе на жительство обеих.

Так и стали они жить вместе – не очень довольная этим соседством Муха и весьма обрадованные новой семьей Тося и Зоська. Правда, теперь они в очередной раз сменили имена. Никто же не знал, да особо и не задумывался, что у этих военных доходяг уже могут быть клички, а не только своя собственная жизненная история. Теперь подругам пришлось учиться отзываться на Мусю и Тусю... Но, как говорится, есть захочешь – не только на новое имя согласишься...

Через три года случился в квартире пожар. Взрослые уехали в соседний городок на свадьбу к родным, а белобрысая девчонка, гладившая ленточки для своих смешных косичек, оставила включённым утюг... Это сейчас техника умная пошла: если утюг сильно перегревается, то он отключается. Защита «от дураков» срабатывает. А в то технически «непродвинутое» время такого не было... Стоял-стоял утюг, перегревался-перегревался, да ладно бы сам раскалился, он же ещё и одеяло, на котором бантики гладили, перегрел... Ну а дальше полыхнуло – сначала одеяло, потом кровать загорелась, тут и занавеску прихватило... В общем, пока соседи заметили дым да в школу побежали – ключ у девчонок забрать, много

времени прошло... Полкомнаты уже выгорело или закоптилось... Муська, она же бывшая Зоська, как самая пугливая, за шкаф забилась – еле вытащили её оттуда – шерсть уже тлеть начала, а Туська с Мухой под кровать забились, хорошо, не под ту, на которой утюг стоял. Все спаслись, только Муська слабенькой здоровьем оказалась – видно, сказалось военное младенчество, она недолго после этого прожила. Наверное, дыма наглоталась – начала часто чихать, кашлять, болеть. С каждым днём становилась всё слабее и слабее. А в последний день свой металась по комнате – место искала... На улицу уйти сил уже не было, а на виду у всех умирать кошки не привыкли... Природа у них такая... Девчонки плакали, сидели с ней рядом, гладили, просили:

– Не умирай, Мусенька, пожалуйста...

Особенно младшая, белобрысая, которая утюг тогда на кровати оставила, переживала, себя в Муськиной болезни винила... Мать девчонок любимицу гладила, а слёзы капали на серую кошачью шерсть...

Все оставшиеся отпущенные им судьбой годы Муха с Тусей прожили очень мирно – горе потери сблизило их. Первое время Туся очень переживала, ждала младшую: сядет у двери в квартиру и смотрит не отрываясь. Как только дверь начинает открываться, она сразу в образовавшуюся щель мордочку суёт – вдруг она там сидит, серым хвостом помахивая. Ночью спит, а сама ушами прядёт, как лошадь, – может быть, Муськино мяуканье услышит? В подвал, бывший когда-то их военным домом, как на работу бегала. Все углы обойдет, всё обнюхает, осмотрит – вдруг где серый бок мелькнет. Потом смирилась, поняла, что не увидит больше свою подругу. С тех пор стала она грустной и молчаливой, подолгу лежала одна, не подходя к хозяевам за «порцией» ласки. Зато с Мухой общий язык нашёлся – стали они вместе вечера проводить, даже на прогулку вместе ходили, причём обе «без поводка». Так весь свой век и скоротали вдвоем...

ХРУПКАЯ СКАЗКА

Большая шишка, лежащая под самой крышкой, прислушалась. Некоторые злые языки говорили, что она скорее похожа на большую кукурузу. Но сама-то шишка точно знала: она именно шишка! Большая, тяжёлая, из толстого стекла. И сегодня она услышала голос хозяйки совсем близко, а это значит, что скоро её достанут с антресолей!

Целый год проходил до блаженного времени радости, счастья и веселья. Хотя оно пролетало быстро, зато было прекрасно! Большую шишку вместе со всеми её хрупкими друзьями бережно доставали из фанерного ящика и клали на стол. А потом начиналось самое радостное – для каждого находили местечко на ёлке. Иногда игрушке не нравилась веточка, которую ей поручили украшать, и тогда она переворачивалась, подпрыгивала, словом, делала всё, чтобы выразить свое недовольство. Но постепенно начинала находить, что её веточка не так уж плоха, раз её украшает такая чудесная вещь!

Большая шишка и её друзья уже много лет дарили семье праздник, ярко сверкая на настоящей лесной красавице. Как же им нравился её аромат, смолистый, морозный! От неё веяло зимой, снегом и интересными историями. Ведь деревья в лесу всегда разговаривают. Шелестя ветвями, они судачат: какой нынче выдался

урожай грибов и ягод, сколько птиц нашли приют в их пышных кронах, и часто ли в этом году сюда наведывались гости. А расхулиганившийся ветерок далеко-далеко разносил лесные голоса. Зелёная красавица ёлка много чего успевала поведать игрушкам, пока... Пока не наступали грустные минуты прощания. В тот день ёлочку уносили из дома, игрушки складывали в большой ящик и убирали на тёмные антресоли, где они ещё долго вспоминали праздничные дни. Правда, постепенно рассказы лесной гостьи забывались, сменялись дни, недели, месяцы, и игрушкам ничего не оставалось, кроме как дремать в сладком предчувствии новой веселой суматохи.

– Слышите? Голоса! – радостно сообщила большая шишка друзьям. Значит, скоро нас достанут с надоевших антресолей.

– Ура! – послышалось со всех сторон. Даже самая спокойная и тихая тряпичная кукла-негритянка с пластмассовым личиком громко воскликнула:

– Наша жизнь опять станет интересной и важной! Нет большей радости, чем быть кому-то нужными!

– Праздник! Ура! – игрушки на радостях начали громко стучать друг о друга стеклянными боками.

– Тише! – прикрикнула на особо расшумевшихся большая шишка, – иначе даже вата, которой мы так аккуратно переложены, не спасёт нас от трещин!

Все сразу притихли: трещины и сколы – самое страшное для хрупких игрушек. Разве кто-то станет вешать на ёлку разбитое украшение?!

Дверцы антресолей приоткрылись, но ящик с игрушками никто не спешил вытаскивать на свет Божий. Наоборот, его задвинули к стенке, а на освободившееся место поставили новую коробку. Дверцы закрылись, игрушки опять оказались в темноте. Им было ужасно любопытно, что же хранится в новой коробке, и они тут же решили познакомиться с соседями. Большая шишка сдвинула картонную крышку ящика и попыталась завязать разговор. В темноте кто-то завозился, зашуршал, и оттуда послышалось:

– Мы новогодние шары, очень красивые, яркие, красные с золотым узором! Скоро наступит Новый год, и мы будем украшать ёлку. Как же мы долго к этому готовились! Сначала нас сделали на фабрике игрушек, потом мы летели на настоящем самолёте и оказались в огромном, сияющем огнями магазине. Мы терпеливо ждали, когда за нами придут! И сегодня этот день настал! Нас купили и принесли домой. Нам не очень нравится темнота, в которой мы оказались, но ради счастливых праздничных дней можно и потерпеть. Уже завтра нас достанут, и мы будем сиять на самой красивой ёлке в мире.

Большая шишка потрясённо молчала. Молчали и остальные игрушки в ящике. А новые соседи продолжали тараторить:

– Это самая красивая ёлка, уж поверьте нам! Такая же прекрасная, как мы! Конечно, жёлтые или зелёные шары с серебряным узором неплохи, да и тёмно-синие тоже. Но! Вы же понимаете, красные с золотом – это просто блеск! И завтра мы украсим чудесную ёлку! Её привезли вместе с нами, она очень пушистая, и совсем не колючая! Скорей бы наступил этот день!

Красные шарики так были увлечены собственной значимостью, что не заметили молчания. В конце концов им всё же надоело говорить с немой темнотой, и они погрузились в праздничные мечты. Нестерпимая боль наполнила блестящие

сердечки обитателей фанерного ящика: они больше никогда не покинут тёмные антресоли, никому не подарят праздничное настроение, их блестящая жизнь закончится в пыли и безмолвии. А может, даже на городской свалке среди кожуры от мандаринов, ржавых консервных банок и старых ботинок.

Первой решилась прервать молчание большая шишка.

– Мы столько лет служили верой и правдой хозяевам, столько принесли радости детям, так старались сохранить себя в целости и блеске, и оказались никому не нужны...

– Кто бы мог подумать, что так всё закончится, – голосок серебристой девочки в короткой шубке задрожал.

– Я так мечтал о празднике, – печально протянул царевич Гвидон на прищепке.

– Без нас ни одна ёлка никогда не обходилась! – воскликнули большие круглые часы со стрелками, застывшими на без пяти двенадцать.

– Новенькие шары повесят, а про нас забудут, – мрачно произнесла маленькая сиреневая избушка с серебристым снегом на крыше.

– Мы не хотим, чтобы про нас забыли!

– И мы тоже! – зазвенели голубые сосульки с серебристым узором.

– И мы!

– И я! – неслось со всех сторон.

– Надо что-то делать! – громко сказала большая шишка. И кажется, я знаю что!

Игрушки затихли.

– Нам надо найти себе других хозяев! Тех, которым мы будем нужны, немодные, немного потёртые и обтрепавшиеся за долгие годы жизни в ящике, не очень красивые...

– Что значит не очень красивые?! У меня, между прочим, серебряные звёздочки на боках!

– А у меня вдавленный рисунок!

– А я вся состою из настоящих стеклянных трубочек! Таких снежинок сейчас не делают!

– Посмотрите на меня: я хоть и не стеклянная, но тоже красиво переливаюсь, – жёлтая груша из папье-маше старательно пыталась продемонстрировать свои блестящие бока всем обитателям ящика.

Каждая игрушка хотела доказать, что достойна украшать новогоднюю ёлку в этом году. Они так расшумелись, что новые красные шарики, задремавшие после утомительной дороги, проснулись и начали возмущаться.

– Хватит кричать! Вас всё равно никто не услышит. Ну да, когда-то вы блистали на ёлке, теперь её будем украшать мы, небьющиеся, с неосыпающимся узором, модные, современные игрушки! И да! Наше крепление очень удобное, и хозяевам не придётся бесконечно распутывать нитки, на которых вы держались. Были важны – стали не нужны. Такова жизнь... А сейчас нам очень хочется отдохнуть перед сложной работой. Это ведь так непросто – создавать праздничное настроение.

Подождав, пока новые соседи перестанут возмущённо возиться и уснут, большая шишка вполголоса обратилась к друзьям.

– Ну, теперь-то вы понимаете, что нам здесь больше нечего делать?

– Да, да, да, – тихонько зазвенели голоса вокруг.

Большая шишка сдвинула картонную крышку ящика и, перевалившись через бортик, подкатилась к приоткрытой дверце антресолей.

– Путь свободен! Вперёд, друзья!

Шишка толкнула дверцу и смело ринулась вниз. Раздался негромкий звон разбитого стекла. Тёмно-фиолетовая слива, выбравшаяся из ящика вслед за шишкой, затормозила у самой дверцы и осторожно посмотрела вниз. Из ящика начали выглядывать обеспокоенные игрушки.

– Она разбилась? – не веря своим собственным словам, тоненько прозвенела голубая сосулька.

Слива мрачно кивнула.

Маленькая блестящая девочка с санками зарыдала:

– Мы никогда-никогда больше её не увидим?!

– Боюсь, что никогда, – мрачно произнёс стеклянный Гвидон, кусая губы, чтобы не заплакать.

Большие круглые часы задрожали так, что навечно застывшие стрелки дрогнули.

В коридоре послышался голос хозяйки.

– Что разбилось? – и через несколько мгновений, – это же большая новогодняя шишка! Кто не закрыл антресоли? Ну как так можно?! Коты влезли и уронили мою любимую игрушку!

Обитатели ящика уловили долгий вздох. Дверцы антресолей открылись, ящик вытащили и поставили на стол, как это обычно бывало в предновогодние дни. Хозяйка начала бережно доставать игрушки. Она раскладывала их на столе, расправляла спутанные нити и тоненькие проволочки креплений.

– Сколько я себя помню, мы всегда вешали на ёлку эти игрушки. Да, я купила красные шары, потому что они понравились дочке. Но я не представляю ёлку без блестящей девочки, больших часов, стеклянного Гвидона! У меня всегда найдётся место для негритянки из ваты и груши из папье-маше. Я обожаю голубую сосульку с осыпающимися блестяшками и стеклянные снежинки из трубочек. Они – мое детство. Когда я смотрю на них, вижу молодую маму, старшую сестру, которая только-только пошла в школу, поэтому ей разрешили самой наряжать ёлку; бабушку, подливающую воду в ступку, где стоит смолистая красавица. И себя, которой Дед Мороз принёс в подарок коробку больших жёлтых круглых карамелек, обсыпанных сахаром. Какие же они были вкусные! А вот этот зелёный шарик и эту сосульку нам подарил мой дядя. Космонавт в большом шлеме и вишнёвом костюме появился в нашей семье, когда мама была ещё девочкой, в тот год в космос полетел Гагарин. А ещё раньше ёлку стали украшать блестящей кукурузой, и моя бабушка даже сохранила одну такую. Здесь, в этом ящике, история целой страны! Мне так грустно, когда что-то разбивается. Я не хочу, чтобы настал день, когда этих сокровищ не будет на ёлке...

Игрушки молчали, притихла дочка, незаметно просочившаяся в комнату, даже коты, несправедливо обвинённые в нападении на антресоли, слушали, помахивая хвостами в знак одобрения. Большой шишке было так грустно, что она недавно подозревала хозяйку в предательстве, и так жалко себя, лежащую разбитой на

полу! Если бы она могла плакать, она залила бы слезами всю комнату. Хозяйка аккуратно сложила осколки разбитой шишки в стеклянную банку.

– Когда я училась в школе, мы измельчали битые игрушки в мелкую-мелкую крошку и потом приклеивали её на картон. Получалась красивая, переливающаяся новогодняя открытка. Не могу я выкинуть даже разбитую историю. Пусть пока в банке полежит, вдруг ты захочешь что-нибудь украсить, – она обняла дочь и убрала сверкающие осколки на антресоли.

На Новый год в детской комнате стояла искусственная ёлка, а в большой – пахнущие лесом и морозом лапы сосны, украшенные старыми, вышедшими из моды, но такими милыми сердцу игрушками. Одно только огорчало друзей, что большая шишка не может порадоваться вместе с ними.

Валерий
МУСИЕНКО

ПОДАРОК ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА

Сказка

Маша закончила свой рисунок, отложила в сторону карандаши и фломастеры. Полюбовалась на то, что получилось, и улыбнулась. Это была открытка к Новому году. На ней два крупных красивых оленя с роскошными ветвистыми рогами, запряжённых в большие сани, лихо мчали через лес. В санях важно восседал Дед Мороз в короткой красной курточке, подпоясанный широким кожаным ремнем, в красном колпаке и жёлтых кожаных ботинках. У него на носу блестели смешные очки с круглыми стёклами. За его спиной лежал огромный мешок с подарками.

Рисунок Маше нравился. Всё получилось точно так, как она хотела. Почему она нарисовала именно этих персонажей? Ну, тут всё просто. Сегодня был последний день уходящего года, тридцать первое декабря. Уже этой ночью, с двенадцатым ударом часов, наступит Новый год. В комнате накроют большой стол, закружит весёлый хоровод вокруг нарядной ёлки, и можно будет долго не ложиться спать. А утром под ёлкой будут лежать подарки. Маша их очень ждёт, поэтому у неё сегодня такое хорошее настроение.

Так получилось, что вся семья спешила завершить незаконченные в этом году дела, поэтому дома никого не было. Мама с утра хозяйничала на кухне, но потом отправилась в магазин, чтобы докупить продуктов для новогоднего стола.

Маша выглянула в окно: не возвращается ли домой мама? Но её не было видно. Зато она увидела своего кота Сержика, который медленно уходил от дома в сторону гаражей, где начинались частные маленькие домики и было много высоких деревьев.

Маша догадалась, что Сержик выскочил за дверь, когда мама выходила из квартиры. Он уже не впервые так убегал. Каждый раз его приходилось искать и возвращать домой. Всего несколько месяцев назад он был маленьким забавным котёнком, а сейчас превратился в молодого кота, который любил путешествовать и никак не хотел сидеть дома.

– Сержик! Вернись! Ты потеряешься! Там же собаки! – крикнула Маша, открыв окно.

• **Валерий Мусиенко** родился в 1973 г. в Донецке. В 1980 г. с семьей переехал в Магаданскую область. Работал в различных должностях на золотодобывающих предприятиях, проходил службу в МВД и ФМС. Рассказы публиковались в литературно-художественных журналах. Призёр литературного конкурса МВД России «Доброе слово» (региональный этап, 2022). Член Союза писателей России (2021). Живёт в г. Курске.

Сержик оглянулся и остановился. Но, похоже, возвращаться он не собирался. Он несколько раз мяукнул, глядя на Машу, и побрёл в сторону деревьев, отряхивая лапы от прилипшего снега.

Маша быстро оделась и побежала на улицу, застегивая на ходу пуговицы пуховика.

* * *

Кот сидел почти на том же месте, на котором его увидела из окна Маша, и оглядывался по сторонам. Но, увидев спешащую в его сторону девочку, встал и неторопливо продолжил свой путь. Вскоре Сержик скрылся за деревьями. Маша его упорно преследовала.

«Странно», – подумала Маша, обойдя деревья и не обнаружив за ними домиков частной застройки. Вместо них посреди густого леса на поляне, возле старой высокой ёлки, стоял большой красивый дом из брёвен, с резными наличниками на окнах, высоким крыльцом. По деревянным ступенькам Сержик быстро поднялся и исчез за приоткрытой дверью.

Делать нечего – надо идти. Маша обошла большие сани, стоящие перед домом, и поднялась на крыльцо. Оглянулась и снова удивилась – она не увидела своего дома, который должен был быть где-то рядом. Она ведь прошла совсем немного.

Девочка приоткрыла шире дверь. Никого не было видно.

– Эй! Есть здесь кто-нибудь? – спросила она.

– Заходи, раз пришла! – услышала в ответ густой бас.

Войдя в дом, Маша увидела старика с густой седой бородой. Он сидел в удобном кресле за большим столом и разбирал письма, сложенные увесистыми стопками. Рядом на полу стоял огромный красный мешок. Пустой.

– Я за Сержиком пришла, – растерялась Маша, забыв поздороваться.

– За котом, что ли? Вон он, в углу, у печки греется, – громким басом ответил старик.

– А почему дверь открыта, если печка топится? – осмелела Маша.

– Проветривается. Я жару не сильно люблю. А твоего кота почему Сержиком зовут? – в свою очередь поинтересовался хозяин.

– Это я его так называю. Потому что маленький ещё. Папа зовёт его Сержантом.

– А мама?

– Мама никак не зовёт, он сам за ней ходит. Она его кормит. А Настя зовёт Сержем.

– Настя – это твоя старшая сестра? Давно она мне писем не писала, давно... Выросла уже.

– Дедушка, а ты кто?

– А на кого я похож? Не узнала?

– Вообще-то, чуть-чуть на Деда Мороза, – хихикнула Маша.

– Почему чуть-чуть? Я и есть самый настоящий Дед Мороз!

– Не сильно похож.

Старик встал, выпрямившись во весь свой богатырский рост. Подошёл к двери. Только сейчас Маша увидела позади себя вешалку на стене. На ней висела

большая шуба, до самого пола, в которую обрядился дед, тёплая шапка тут же перекочевала с полки на его голову. В углу стоял большой тяжёлый посох с крупной ледяной снежинкой на вершине.

– Ух ты! Настоящий Дед Мороз! – удивлённо ахнула Маша.

– Он самый! – ответил довольный хозяин дома. Дед Мороз снял шапку и шубу, посох поставил на прежнее место и опустился в кресло, взяв со стола новую пачку писем и открыток.

– А я думала, что ты в ледяном дворце живёшь. А ты вот, в избушке...– начала Маша.

– Я не в избушке живу. И даже не в избе. Посмотри – это терем! – гордо обвёл рукой своё жилище Дед Мороз. – Да и не Снежная Королева я, чтобы в ледяном дворце жить.

– А я думала, ты по-другому выглядишь, – призналась Маша.

– В короткой курточке, а не в шубе? В смешном колпачке и перчатках, а не в тёплой шапке и тёплых рукавицах? В каких-нибудь ботиночках или сапогах, а не в валенках?

– Ну да... – смутилась Маша, вспомнив свой рисунок.

– Так выглядит Санта Клаус, мой брат. А я – русский Дед Мороз. Отличия есть, как видишь.

– Только очки похожи, – заметила Маша.

– Очки почти всегда носит Санта. Я в них только читаю письма и открытки от детей. Зрение у меня хорошее, – рассмеялся Дед Мороз.

– А как же ты, такой большой, в трубу камина пролезаешь, когда подарки приносишь? – удивилась Маша.

– Это Санта любит в камин лазить. Я через дверь вхожу. С таким-то мешком!

– А если дверь заперта?

– В окно.

– А если и окно закрыто?

– Неужели ты думаешь, что я не смогу в дом попасть? И это в волшебную ночь?! Дед Мороз ведь тоже волшебник.

– А ты правда существуешь? – недоверчиво спросила Маша.

– Ты же меня видишь, со мной говоришь?

– И ты настоящий волшебник?

– Конечно! Смотри – твоё письмо! – Он не глядя достал из пачки писем именно то письмо, которое Маша только вчера отдала папе с просьбой отправить Деду Морозу.

– Как быстро дошло! – восхитилась Маша.

– Конечно, это же почта Деда Мороза!

– А папа сказал, что мы его поздно отправляем и оно может не успеть дойти. А кто тебе его принёс? Почтальон?

– У меня своя почта. Сначала голуби по городу и между городами разносят. А там и лесные жители помогают.

– Зайцы, белочки и ёжики?

– Они самые. Только ёжики зимой впадают в спячку и спят до весны.

– Как медведи? – удивилась Маша.

– Как медведи.

– А где сейчас белочки и зайцы? Почта здесь, а их нет.

– Во дворе. Ёлку перед теремом наряжают. А то у всех Новый год, а у нас одни хлопоты. Надо и лесным жителям праздник организовать. Помогают же они мне. Надо и их уважить.

– Ты шутишь, дедушка, – рассмеялась Маша, не поверив Деду Морозу.

– Сама посмотри, – кивнул старик на окно.

Маша подошла к окну и посмотрела на улицу: перед теремом росла большая ель, та самая, которую она уже видела. Сейчас ёлка была украшена разноцветными стеклянными шарами и бусами, шишками, сушёными грибами, кистями рябины. А вот зайцев и белок уже не было. Только цепочки следов вокруг ёлки.

– А где все? – удивилась Маша.

– Побежали поздравлять лесную детвору.

– А где олени? Там же пустые сани! Как подарки повезёшь? – удивилась Маша.

– На оленях Санта Клаус ездит, ты опять всё перепутала. Дед Мороз ездит на тройке крепких коней. Разве такую кучу подарков олени увезут? – И Дед Мороз показал рукой на огромный мешок.

– Только что он был пустым, – удивилась Маша.

– Я же волшебник, сколько тебе повторять? Читал письма и мешок наполнялся подарками.

– А где тогда кони? – не унималась Маша.

– В тёплой конюшне, отдыхают они сейчас. Зачем их зря морозить? Им предстоит этой ночью много работать. Пусть греются, сил набираются.

– А Снегурочка?

– Подружек поздравляет. Вот она-то и приведёт сюда коней, но чуть позже.

– А можно и мне с вами? Я тоже хочу всех поздравлять и подарки дарить, исполнять желания.

– Открою тебе, Маша, один секрет – не всегда я дарю то, что дети загадывают. Да и взрослым тоже.

– Как? Почему? Только тем, кто весь год вёл себя хорошо? Это так трудно...

– Не только поэтому.

– А, догадалась! Подарки бывают большими и не всегда влезают в мешок? Или тяжёлыми, даже для коней?

– Тоже правильно. Но бывает и так, что многие заказывают одинаковые подарки, тогда не получается подарить всем то, что они хотели. Приходится дарить тому, кто в этот момент больше нуждается. Но без подарка не остается никто.

– Но ты же волшебник! – расстроилась Маша.

– У всякого волшебства есть свои пределы, – грустно вздохнул Дед Мороз.

– Так мне можно с вами? – повторила свой вопрос Маша.

Дед Мороз только молча помотал головой.

– Но почему? Я буду помогать... – настаивала Маша.

– Потому что тебя будут искать твои родные. Представь, какой новогодний праздник ты им устроишь, если пропадёшь из дому. Да ещё в волшебном лесу. Но есть и ещё одна причина, – вздохнул Дед Мороз.

– Какая? – затаила дыхание Маша.

– Тот, кто развозит людям подарки, сам остается без подарка. А твой подарок уже в мешке. Ты же сама видела, как я читал твоё письмо.

– Видела...

– Так что ступай за своим котом. Он привёл тебя сюда, отведёт и обратно. Сержик не в первый раз ко мне приходит.

Кот молча встал, потянулся и медленно направился к выходу. Дверь терема была всё ещё приоткрыта. Маша пошла следом, но на пороге остановилась и обернулась.

– Так значит, ты останешься без подарка на Новый год?

– Останусь без подарка, – ответил Дед Мороз.

– Ты каждый год всем подарки даришь, а сам не получаешь? – не успокаивалась Маша.

– Каждый год...

– Но ведь это обидно и несправедливо!

– Дарить подарки гораздо приятнее, чем получать, – улыбнулся Дед Мороз.

– Ты когда принесёшь мне подарок в новогоднюю ночь, посмотри под ёлку внимательно. Там будет подарок для тебя. Не забудь!

– Обязательно посмотрю.

– А что бы ты хотел, чтобы тебе подарили?

– Это же подарок. Он должен быть сюрпризом. Но хотелось бы, чтобы это было что-то, сделанное своими руками. В такой подарок человек всегда вкладывает свой труд, свою душу, поэтому он особенно дорог. Запомни это на будущее.

– А как я узнаю, что это ты забрал подарок, а не папа или мама его убрали?

– Очень просто. Посмотри в окно и всё поймешь, – улыбнулся Дед Мороз.

– До свидания, Дедушка Мороз!

– До Нового года, Маша! И поторопись, твой кот уже далеко.

Маша вышла за дверь и увидела, что Сержик скоро скроется за кустами. Она его догнала и взяла на руки, когда они уже поравнялись с высокими деревьями, за которыми показался их дом.

* * *

Дома их уже ждала мама. Она не поверила рассказу о том, что Маша с Сержиком были в гостях у Деда Мороза. Но немного поругала кота за то, что он снова убежал. А заодно и Машу. Ведь мама волновалась, когда пришла домой и не обнаружила там дочери. Родители всегда волнуются за своих детей, даже когда они становятся взрослыми.

Маша сразу принялась за приготовление подарка Деду Морозу. Она уже знала, что это будет новогодний рисунок, но не обычный, а рисунок-игра.

Она нарисовала волшебный зимний лес. Тот самый, в котором только что побывала. В окружении деревьев, присыпанных снегом, стоял терем Деда Мороза. Рядом с теремом большая пышная ель, украшенная игрушками, шишками, грибами. Под елью резвятся белки и зайцы.

На отдельном листе нарисовала тройку белых коней, запряжённых в сани, мешок с подарками, самого Деда Мороза, Снегурочку, Снеговика. Потом их вырезала, чтобы ими можно было играть и перемещать по первому рисунку. Рисунок и фигурки украсила пластилином, чтобы придать им объём.

В этот раз Дед Мороз получился настоящим, каким она его видела. Из-под огромной шубы торчали тёплые валенки, на руках были огромные рукавицы, а на голове большая шапка. В руке посох.

Маша придирчиво осмотрела то, что получилось, и осталась довольна. Это была настоящая игра. По рисунку можно было перемещать всех сказочных персонажей и сани с запряжёнными в них конями. После этого Маша аккуратно сложила игру в прозрачный файлик, чтобы ничего не потерялось, и убрала его под ёлку. Ведь был уже вечер, и приближался Новый год. Нельзя было оставлять Деда Мороза без подарка. Он ждал, а Маша пообещала. Данное слово надо держать.

* * *

Утром, едва проснувшись, Маша побежала искать под ёлкой подарки. Там лежали коробки с сюрпризами для всех членов семьи. И все получили именно то, что и загадывали. Даже коту Сержику Дед Мороз принёс большую новую миску, ведь прежняя годилась только для маленьких котят. Не было под ёлкой только подарка, который она сама с вечера оставила для Деда Мороза.

Все ещё спали, даже Сержик. Маша проснулась первой, значит – никто не мог забрать её подарок для зимнего волшебника. Но как узнать, получил ли его Дед Мороз, точно ли он забрал его?

– Ну что, понравился тебе подарок от Деда Мороза? – спросил папа, войдя в комнату.

– Да, я как раз хотела получить большой набор маркеров для рисования и большого плюшевого кота. Именно такого рыжего цвета. Но как узнать, получил ли Дед Мороз мой подарок?

– Не знаю, я спал и никого не видел, – ответил папа, открывая шторы, и замер, с любопытством рассматривая что-то в окне.

– Что увидел? – поинтересовалась Маша.

– Сама посмотри, как мороз расписал узорами стёкла.

– Мороз? Дед Мороз? Точно! Он же сказал – посмотри утром в окно и всё поймешь! – обрадовалась Маша, подбегая к окну.

– Кто?

– Да Дед Мороз. Маме вчера про него рассказывала, но она мне, кажется, не поверила...

– Тогда смотри. Это он тебе оставил послание.

А Маша ёще долго стояла у окна и рассматривала замысловатые узоры на стекле. Если присмотреться, то там можно было увидеть волшебный зимний лес. На белых пушистых ветках деревьев сидели снегири и синицы. А под деревьями прятались белки и зайцы. Но их очень трудно было рассмотреть. А вот ёжиков Маша так и не нашла. Наверное, они проспали весь праздник. За этими волшебными заснеженными деревьями прятался терем Деда Мороза, хозяин которого в этот Новый год тоже не остался без подарка. Теперь Маша это точно знала. Ведь в волшебную новогоднюю ночь подарки приятно получать всем, даже если ты сам Дед Мороз.

Татьяна
ТАРАН

ВЕРОЧКА

Рассказ

Старуха Улита Лукинична была крутого нрава. Разговорам и другим мягким методам воспитания предпочитала один короткий и жёсткий аргумент – полено. Им она охаживала за любую провинность всех своих одиннадцать детей. Благо, леса вокруг было много: староверы пришли в глухую тайгу, поднявшись на лошадях с обозами вверх по берегу реки с непонятным названием Зея. Забредавшие с севера эвенки называли её «Дее», что на их языке означало «лезвие». Река и вправду блистала на солнце холодной сталью своих протоков.

Осенив двуперстием пышные заливные луга, бородачи основали на яру поселение из шести дворов. Дали ему название Натальино – по фамилии не дожившего до светлых дней отца Улиты, Луки Петровича Натальина. С годами лес отступил: крепкие деревья шли на постройку домов для новых поселенцев, подлесок – на дрова. Жили кучно и строго, чужой еды не брали, посуду после гостей отчищали песком, девок замуж выдавали только за своих.

Неспроста Улита была жестокой – натерпелась лиха в детстве. Намоталась по Сибири в переселенческом обозе. Три года кочевья из голодной поволжской земли на Дальний Восток наложили отпечаток на её характер. Закалили и ожесточили. Закутанная в меховые обноски, с торчащим из вороха тряпья носом, маленькой девочкой познала лиха на сибирском тракте. Вместе с родителями тряслась в обозе – от становья к деревне, где можно было попроситься на зимний кошт за мелкую подработку, отогреться, дать отдых лошадям, переждать лютые морозы. С первым ледоходом по Шилке и Амуру снова сплавлялись на плотах в поисках плодородных земель, которых так не хватало на родине. Малолетние братья в том походе померли, не выдержали холодов и голода. А девчонка сдюжила, обрела внутреннюю силу.

• **Татьяна Таран** – член Союза российских писателей, Русского географического общества. Автор пяти книг прозы. Публикации в журналах «Юность», «Метаморфозы», «АртБухта», «Дальний Восток», «Власть книги», «ФормаСлов» и др. Рассказы переведены на китайский и вьетнамский языки. Лауреат литературных конкурсов, лонг-лист литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева (2022, 2023). Живёт в Москве.

Восьмилетняя Улита крепко запомнила своего отца – седобородого старика Луку, тридцати пяти лет от роду, стоящего на плоту с огромным, как ей казалось, шестом. Отец причаливал к очередной стоянке на широкой реке, преодолевая её бурное течение. Но река оказалась сильнее мужских натруженных рук.

Надорвался и умер. Короткий век у мужчины.

Похоронили на взгорке у соснового бора, соорудили нехитрый крест и поплыли дальше. Семью Луки Петровича сородичи не бросили, помогали вдове, подкармливали осиротевшую Улиту.

Выросла Улита крепкой и жёсткой. В борьбе за кусок хлеба формировался характер. Но была у неё тонкая ниточка внутри души. Тёплые отцовские руки не шли из памяти, тянулась девушка к мужской надёжной силе. Да где же её взять?

Образ отца так и стоял в глазах подростка, так и бегала Улита на Зею, без надежды высматривая очередной сплав: не появится ли папка? Понимала, что нет, но тосковала, глядя на реку, которая равнодушно текла мимо.

Вместо отца появился Гриша. Молодой, чубатый, озорной, с сильными руками, а песни под гармошку пел – вся деревня в пляс пускалась под его «Камаринскую». Не знали тогда слово «любовь», не ходили под ручку до околицы. Заслали сватов и тут же свадьбу скромную сыграли. А до свадьбы дитя не зачать, изгонят из своих – и мыкай горе по тайге.

Гриша водил плоты на зависть всем речникам, словно перенял опыт от не дожившего до свадьбы дочери тестя. Молодой лоцман все повороты реки обходил, все стремнины и мели знал. Была у него чуйка, и глазомер набитый: считал метры до берега на глаз, учитывал скорость воды и направление ветра. Ни одной аварии, ни одного разбитого плота не допустил.

Только плоты были уже другие. Не те, переселенческие – со скарбом и шалашом-времянкой на борту, похожие на плывущий по реке низкий дом с плоской крышей. Новые, безлюдные плоты нужны были для строительства городов и посёлков, возникающих один за другим по берегам дальневосточных рек. Народ всё прибывал на свободные земли, но теперь уже не сплавом, а по «железке», в вагонах-теплушках. Город неподалёку от Натальино, куда Транссиб не дошёл, так и назвали – Свободный. Туда водил по реке огромные коричневые лоскуты связанных между собой деревьев Григорий Корнеев.

Нарожала ему Улита за двадцать лет супружества одиннадцать детей. Раз не бьёт – значит любит, вот и весь сказ. Управляться с домом и скотиной при таком «выводке», как называла своё потомство многодетная мать, можно было только с помощью силы. В отсутствие мужа-лоцмана этой силой приходилось быть самой Улите. Сварить, помыть, накормить, убрать – вся домашняя работа делалась без мужа, пока тот кружил с брёвнами по извилистой реке.

Чугунок с картошкой, присыпанной укропом, шмат сала, разрезанный на одиннадцать равных частей, круглый хлеб из печки и кувшины с молоком, разлитым по железным кружкам, не менялись в меню изо дня в день. Гриша соорудил полати вкруг избы для старших детей, а самые маленькие забирались на лежанку, которая прогревалась от топки русской печи. Родительскую постель, чаще всего безмужнюю, отделяла занавеска на верёвочке.

Всем детям от Улиты доставалась работа на день. Наколоть дров, подоить корову, задать корму свиньям, убраться в курятнике, подмести засохшей полынью

дощатый пол – деревенские хлопоты не кончались никогда. А за любую провинность, непослушание полагалось всё то же полено.

До тридцать седьмого года спокойно жили. А после сгинул Григорий Корнеев, как и не было лучшего лоцмана на реке. Не ту частушку спел перед заезжим коммивояжёром.

Короток век мужчины.

Давай, Улита, выращивай одиннадцать своих деток сама. Командировки мужа научили вести хозяйство в одиночку. Но жить без мужика, на время замерзания реки проявлявшего хоть какую-то заботу о семье, стало неизмеримо труднее. Старшие дети пошли в тайгу, на лесозаготовки, младшие колготились по двору. В школу-семилетку ходили не все, а окончивших её почитали за грамотеев.

От голода и беспросвета сбежала Вера, старшая дочь Улиты. Надоело ей мёрзнуть в тайге, ворочать срубленные деревья. Среди мужиков, без бани, со мхом между ног в особые женские дни. В рваной телогрейке, облезлой шапке и стоптанных валенках на тридцатиградусном морозе было не до женской красоты. Грубела кожа и душа. Веса в ней было всего ничего, чуть больше бараньего, но дух крепчал, не согласуясь с весом. Закалился характер, а может, передался от Улиты. Рассчитывать только на себя. И выжить – любой ценой.

После того как от надсадной работы вывалился пупок прямо на матрас с сеном, решилась Верочка бежать. Наслушалась от других женщин, что бесплодной можно стать на брёвнах этих, и ушла по тайге в Свободный, в городскую жизнь.

Пятьдесят километров шла в одиночку по лесной дороге. От деревни к деревне, стараясь добрести к ночи до жилья. Кто картошки в мундирах с собой даст, кто семечек насыплет. Хлеба не давали, самим после войны голодно было. Волки выли в лесу, а Вера их песней отгоняла. Артисткой мечтала стать, в кино сниматься. Рассказывали в лесу про то пришедшие с фронта инвалиды. А других подходящих мужиков там не было. Стар да млад. Зимой в лесу, летом в колхозе, год за годом, за трудодни...

Приписала Верочка к своим пятнадцати годам ещё два, устроилась подавальщицей в привокзальном буфете. А заодно училась, с семилеткой взяли на кулинара. Быть поваром – значит быть всегда сытой.

В семнадцать лет Вера узнала грубую мужскую силу. В столовой для солдат, куда после училища пошла работать Верочка, её облапал майор Свиридов. Редкостная гнида, как называла его потом Вера Григорьевна. Все её светлые мечты о мужчине-защитнике порушил. Сила-то дурная оказалась, сгрёб её в подсобке, руки за спину вил, слюнявил губищами, отдаться требовал. Упала Вера на колени, просила не трогать: «Достанется от мамки, коли с животом вернусь! Пощади, не трогай меня, я же не знала ещё мужской ласки, а ты же позабавиться только хочешь, жениться не будешь!»

Военный зубы стиснул, отшвырнул от себя со словами: «Чтобы завтра здесь твоего духа не было. Ходишь тут, сиськами своими нервы мне треплешь». И уволил на другой день.

Грудь у Верочки и вправду была на загляденье. Отъевшись на столовских харчах, обрела женственный вид. Солнечным водопадом сыпались на спину кудрявые волосы, благодарные воде и мылу. В стылой тайге они не мылись по два месяца, заедаемые вшами. Но с красотой пришло и ожесточение. Надо быть

сильной! Бороться не только за кусок хлеба, но и за всю себя. На мужиков надежды нет, им одно только надо.

Вера мечтала стать артисткой. Мечты обрели призрачную надежду, когда застучал на стыках пассажирский поезд с плацкартным вагоном, в котором Вера стала хозяйкой. Поварской работы в городке было мало, а желающих кормиться за казённый счёт – много. Хозяйка дома, где Верочка снимала угол в пристройке к хлеву, посоветовала пойти на железную дорогу. Там своя койка в купе проводников и чай бесплатный. Глядишь, кто подкормит в пути. Или пригреет.

От станции вагоны шли в две стороны: сутки в рейсе на восток и неделю на запад. Верочка мечтала однажды пойти в дальний рейс, выйти на конечной, в столице, а там кривая вывезет, можно песни петь, в кино сниматься. Пела она хорошо, вся в отца пошла. В тонком теле оказался мощный грудной голос. «Парней так много холостых на улицах Саратова...» – распевала Вера на отстойных путях каждый раз после учебного рейса на соседние станции.

А в рейсе топила углём вагоны, не привыкать! Носила чай в железных подстаканниках – и этому научилась в людях. Улыбалась и шутила. С ног валилась от усталости, но виду не показывала. Железный стержень внутри не давал согнуться тоненькой берёзке. О парне не мечтала: если все такие, как майор, то зачем он нужен, охальник! Да и женихов-то наперечёт, полегли за Родину. Война хоть и обошла Дальний Восток стороной, но аукнулась в каждой семье, не досчитаться мужского рода.

Однако счастье вывалилось само полным коробом. Приметил её в депо Коля-машинист, вместе с бронью от фронта сохранивший себя для страны и для женщин. Сверкнула звезда надежды для Верочки: статный, глаза голубые, вон какую махину по железной дороге ведёт! Сколько груза паровоз тащит, не то, что отцовский плот. Оставила мечты о Москве, не разбрасываться же мужчинами, которых на всех и так не хватает.

Поженились, дом построили, детей Вера не хотела вовсе, натерпелась от матери, насмотрелась на нищету многодетную в своей деревне, на битых братьев и сестёр. Росточком своим маленьким, некрупной фигурой надеялась скинуть, не выносить ребёночка, коли случится неожиданно. Любить бы только мужа, нюхать его пот, стирать одежду, пропитанную запахом сгоревшего угля, метать на стол борщ с пампушками, да подливать самогонки, что пряталась в синеватых бутылях в сенцах за шторкой – от чужого глаза подальше.

Всем хорош был Николаша, да только баб в округе много одиноких. Захаживал, не стесняясь. Как будто отрабатывал мужскую обязанность за себя и за того парня. Добрый, не мог отказать. Глядя на то, Вера Григорьевна не нашла другого способа, как нарожать своему неблаговерному троих детей, с перерывом в пару лет. Не зря сбежала из леса, сохранила в себе самое главное. Женской хитрости хватило на то, чтобы привязать к себе мужика его потомством. А нравы в том небольшом городке, где все знают родословную до третьего колена, просты и незатейливы: от детей не уходят. Мучаются, но живут!

Так и жили. Себя Николай не жалел, к дому для большой семьи пятистенок пристроил. Работал на «железке» ответственно. Огород тянул, двенадцать соток, пятьдесят мешков картошки на зиму выкапывал. Девок окрестных забросил – где силы взять на всё?

Надорвался. Упал в меже. Инсульт. До пенсии не дожил. Недолог мужской век.

Тяни, Верочка, дальше сама.

С дочками хлопот не было. Учились в школе, пятёрки приносили, пионерские галстуки сами гладили себе. Но сын... В Николашу пошёл, к спиртному потянулся. А ведь руки у него золотые были – любую машину починить мог, любой трактор на винтики-болтики разобрать. За то и сгинул. После каждой починки клиенты платили ему «жидкой валютой» – водкой беленькой, да портвейном красненьким «Три семёрки». А самогона и своего хватало до упития...

Избили собутыльники до полусмерти. Никто и не помог ввечеру, нашли утром в парке под скамьёй, закоченевшего. Похоронила сына, почернела Вера Григорьевна. И жизнь вроде светлая кругом, ни войны, ни голода. Но ни мужа, ни сына у неё теперь.

Не дожили до старости...

Одна надежда у Веры осталась: скорей бы девки замуж вышли, зятьёв привели, да внуки пошли, парней в семье прибавится, фамилию не продлят, да и ладно. Лишь бы звучал в доме мужской голос, лишь бы надежда появилась на помощь и защиту. Не вышло. Как рок какой-то над семьёй витал.

Замуж дочки вышли по старшинству: сначала Лида, потом Светочка.

Старший зять в тайгу на кабана пошёл, мяса на зиму запасти, да не вернулся. Промышлял по пути женьшенем, приторговывал из-под полы. А делянки в лесу размечены, чужое не замай! Видно, напоролся на хозяев, наказали примерно. Слушок потом пустили, что нашли обглоданное зверьём тело, по винтовке опознали, да подсумок с корешочком засохшим приметили. А как было на самом деле – догадайся сам. В тайге свои законы...

Младший зять красив был, кудрявый, как сгинувший Гриша Корнеев, выпить-закусить любил, и работа спорилась. Но девяностые годы, проклятые, накрыли одну шестую часть суши чёрным крылом, и что творилось под ним – дела тёмные. Кто-то вышел с барышами, продал заводы и пароходы, а кто-то слишком дорого заплатил за пачку сухой лапши, что продавалась в киоске у мужа младшей дочки, Светочки. Подошли с пистолетом в его ночную смену и потребовали водки. А зять вступился за своё, не захотел отдавать – так и схоронили, с бумажным венчиком на лбу. Крещёный был. Верил в загробную жизнь, царствие небесное.

И обратился взор Верочки на единственного внука, Богдана, Богом данного, от старшей дочки, тоненького, как хилый дальневосточный дубок. Всей женской семьёй растили, один на всех ребёнок случился: младшая Светочка без детей вдовой осталась, и замуж снова не брали.

Богдана баловали сверх меры, все лучшие кусочки – сыну, внуку и племяннику в одном лице. Собрали денег на учебу в институте, тянули как могли. А когда после учёбы пошёл в армию, молились, чтобы не попал в горячие точки. Но беда пришла совсем с другой стороны – здоровья не хватило. Застудился на плацу, отказали почки.

Поднялась Вера во весь рост: не отдам Богдана! Хватит уже нашей семье гробов! Назубок выучила диагноз внука, повторяла по слогам, чтобы не сбиться: гло-ме-ру-ло-нефрит. Искала врачей, кто тоже знает это слово, брала штурмом закрытые двери. Дошла Вера Григорьевна аж до самого командующего армией, добилась перевода в окружной госпиталь. Долго лечили парня, списали по здоровью. Но зато – живой!

Прервалась чёрная нить, что вязала натальинский род по мужской линии. А там, глядишь, и правнуков дождётся Верочка.

Игорь
КОЧНЕВ

СТИХИ

* * *

Купанье в сентябре – вода прозрачна...
Огарок лета теплится едва...
Тепло ещё не лживо, и листва
Щекочет крышу у озёрной дачи.

Как снадобье душе и роскошь телу –
Купаться в озере, омыться в сентябре,
Плыть на луну в озёрном серебре
И отражаться в небе оробело...

* * *

Надышали холодом на стёкла
Заморозки в роще и в саду.
Под тончайшим инеем поблёкла
Палая листва на берегу.

Иней крупной солью на перилах...
Наледь блещет в лужах по утрам...
Осень низко небо опустила,
Но не стало легче облакам.

Ноябрю в последнюю декаду
Так прикрыть хотелось наготу,
Что под утро, сжалившись, нападал
Тёплый снег в саду и на пруду.

Этот снег, прогнувший кисть рябины,
Ветви ив плакучих и берёз,
К оттепели явится с повинной,
Что пришёл покамест не всерьёз.

Он ещё растает и расквасит
Жидким тестом топь бездонных луж...

Но пока, как мальчик в первом классе,
Он так светел, мил и неуклюж...

• **Игорь Кочнев** – поэт, художник и переводчик. Автор двух поэтических книг и многих публикаций в различных сборниках и антологиях. Ведёт поэтические блоги в сети Интернет. Живёт в Хайфе (Израиль).

* * *

Комната плавала в сумерках.
В окнах сквозь льдистый хрусталь
Вечер синел. И раскуривал
Трубы печные февраль.

Синь всё сгущалась на улице,
Шапку надвинув на лоб.
Яблони зябко сутулились,
Ноги упрятав в сугроб.

Там возле школы раскатанный
Штрих на тропе ледяной,
Память за пазухой спрятала
Змейку тропы над рекой...

Хлопьями медленно падала
Белая тишина...

Памяти тайная Шамбала,
Нет в твоих омутах дна...

* * *

Тишайший снег, не целясь, слепо падал,
Но обнял ветку каждую в саду,
И тишины пушистая громада
Повергла всю округу в немоту.

Там, доставая облака рогами,
Бесшумно лось проплыл над ивняком,
Лишь влажный снег похрумкал под ногами,
Как ест нахлебник робкий за столом.

Что мне сугробы на ухо нашепчут?
Под шарфом так раскалена душа...

В обнимку с мыслью и печали легче
Наполнить только светом каждый шаг...

* * *

Отрастили бороды сосулек
Трубы водосточные окрест,
Март хрустальной коркой караулит
Снега ноздреватого протест.

А хитрющий полдень исподнизу
Топит потихонечку снежок,
И капели звонкий блеск с карниза
Каплет ручейку на посошок.

У мальчишек цыпки на ручонках,
Фонари в прищурах от снежков...

Чуть пригретый солнцем, как котёнок,
Помурлыкал март и был таков!

* * *

Казалось, никогда не кончится
Зима, и глючила весна.
Душа ждала горячих пончиков
И подогретого вина.

Борща наваристого с водочкой,
Суп с фрикадельками, харчо...
Снега неслись, как псины гончие,
Как старикашки за врачом.

А вечера синели бархатно,
И что-то в воздухе звало,
Весна – чертям период пахотный
И славный дьяволу улов.

Коты дерутся, сердце ёкает,
Теплынь дожёвывает снег,
Но не одними жив пороками
Весной подбитый человек.

Яснеет взгляд, и мысль торгуется,
Что в заголовок, что в курсив...

Сквозь смех и грех рыдает улица,
Апрель капелью окропив...

* * *

За вазонами с бегонией,
Где неяркое окно,
Словно всхрапывают кони –
Шорох птиц в вершинах крон.

Гроздь сирени у калитки
Тяжелеет от дождя,
Путешествуют улитки,
Лист салата бороздя.

Ящерицы и лягушки
Капли слизывают с глаз,
Яблони в цвету и груши –
Как невест иконостас...

Дождь ночной гремит, хлопочет,
Проверяет водосток...

Спится всласть дождливой ночью,
Сон так мягок, так глубок!

* * *

Рассвет – шалун и чародей,
Припрятав сноп лучей, украдкой
В прозрачной утренней воде
Зажёг кувшинки, как лампадки.

Дождь прогулялся по лугам,
Земля курится, травы блещут,
Стрекоз искристый балаган
В вершине лета августейшей.

Всё молча молится воде –
Теченье жизни бесконечно...
Как будто ангел, пролетев,
Оставил отраженье речке,

Её ракитам, камышам,
Глубоким омутам и роще
И проложил тропу к словам,
Таким простым,
что нет их проще...

* * *

Слышал эхо в лесу от сердечного стука,
Где от щебета птиц лист осины дрожал,
А с высокого берега речки излука
Выпрямлялась в разящий кинжал.

Душно пахли полынь, и чабрец, и крапива,
Ястреб в мареве плыл над вершиной сосны,

А костёр ломкий хворост съедал торопливо
И в лазурь заревую завинчивал дым.

А туман нависал тонкой пряжей на ветки,
И дергач-коростель и скрипел, и трещал,
То ль привет донося от языческих предков,
То ль грядущих миров открывая портал.

Ветер звёзды раздул на безоблачной тверди,
Но, прогнав мошкару, не даёт мне уснуть...

Не смеркается сердце, и в Господа верится,
Там, где угли костра отразил Млечный Путь...

* * *

Как голубиное перо
Рассвет. Цвет изумрудно-серый.
Всё то, что станет так пестро,
Как будто обретает веру.

Сквозь этот невесомый цвет
Блистает пенье птиц в ущелье.
Листва и травы льют в рассвет
И заговаривают зелье.

Ручьём восход стекает в день,
И облако, вздремнувши чутко,
Застряло шапкой набекрень
На эвкалипте на минутку.

Как хорошо нырнуть в свой дом,
Где так пахуч имбирь для чая,
Где Бог покрошит мне в ладонь,
Как птице, думы и печали.

Александр
ЮДИН

ЧУДЬ-ГОРА

Рассказ

Несколько лет тому назад автору этих строк довелось работать в архиве городской библиотеки города Чухломы. И вот там, среди залежей совсем ветхих изданий и старых документов, мне на глаза попалась зелёная папка с тесёмочками, а в ней – кипа исписанных листов.

Листочки были жёлтые, в «лисьих» пятнах, а рукописный текст – с ятями, ерами, фитами да ижицами, то бишь писан очевидно до орфографической реформы восемнадцатого года. Я, понятно, заинтересовался, стал читать. И что же? Хотя начало рукописи отсутствовало – думаю, был утрачен лишь самый первый лист, – по всем приметам выходило, что эти листки – неизвестное письмо писателя Павла Ивановича Мельникова-Печерского, адресованное Владимиру Ивановичу Далю.

Как известно, чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Павел Иванович Мельников, он же – писатель Андрей Печерский, автор эпической дилогии «В лесах» и «На горах», был коротко знаком с создателем «Толкового словаря живого великорусского языка» и даже три года жил в его московском доме на Большой Грузинской. А впервые познакомились они ещё в Нижнем Новгороде.

По ходу чтения я пришёл к выводу, что, судя по многочисленным поправкам и помаркам, мне в руки попал черновик. Само же письмо, как мне думается, так и не дошло до адресата. Черновик датирован не был, но поскольку речь в бумагах шла об изыскательской поездке Мельникова-Печерского в эти места по поручению тогдашнего министра внутренних дел Тимашева, мне без особого труда удалось установить, что описываемые автором события относятся к лету 1869 года. Хотя само письмо писалось спустя год после той поездки. А возможно, и позже. Содержание этого неотправленного письма настолько поразило моё воображение, что... Впрочем, лучше прочтите его сами, вот оно.

«...Всей душой надеюсь, что и вы, любезный мой Владимир Иванович, в столь же добром здравии ныне пребываете. Но вернемся к приключившейся со мною поистине диковинной истории. И хотя в прожитом времени много было мною видано, много слышано и немало такого знаемо, что весьма немногими знаемо, эта история стоит особняком в силу её особенной удивительности. При всём том смею вас уверить в её

• **Александр Юдин** родился в 1965 году. Публиковался в журналах «Нева», «Изящная словесность», «Дон», «Родная Кубань», «Бельские просторы», «Наука и жизнь», «Уральский следопыт» и др. Автор трёх романов. Живёт в Москве.

полной правдивости. Во всяком случае, рассказ мой коснётся лишь тех событий, которые сам видел и про которые сам слышал. А как вам, Владимир Иванович, ведомо, Бог дал мне хорошую память, и где я ни был бы, что бы ни видел, что бы ни слышал, всё твёрдо помню. И когда вздумается мне про то писать – пишу по памяти, как по грамоте, согласно старинному присловью. Коли изложение моё нестройно окажется – простите покорно, но, представляя, что стало мне известно, не смею дозволить себе для большей стройности изложения что-либо переиначивать. Так вот, продолжаю.

Из Нижнего я выехал двадцать первого июня вместе с моим старинным приятелем Константином Николаевичем Бестужевым-Рюминым. Вам он также хорошо известен. Помните, в своё время вы весьма высоко оценили его статью о современном состоянии русской исторической науки в «Московском обозрении» за 59 год?

Когда мы с ним были в Урене, у самой границы Вятской и Костромской губерний, на постоялый двор, где мы остановились на ночлег, прискакал посыльный с запиской от капитан-исправника Чухломского уезда Ивана Андреевича Кокорина. В той записке исправник писал, адресуясь ко мне, что, как ему стало известно, я нахожусь здесь по прямому указанию Александра Егоровича Тимашева с поручением провести изыскания о состоянии дел в северных губерниях, так он настоятельно просит посетить его уезд, поскольку-де в одной из деревень Алешковской волости творятся большие непорядки: завелись там якобы некие сектаторы – не раскольники и не хлысты, коими в Заволжье никого не удивишь, а какая-то вовсе неслыханная секта; и творят те сектаторы всякие безобразия и даже похищают для своих ритуальных целей местных девок. А продолжается-де это уж неведомо сколько лет – издавна, только прежнее полицейское начальство это всё под сукно прятало, а он, Кокорин Иван Андреевич, хочет оное непотребство вытащить на свет божий и пресечь. Но человек он на должности новый, опыта не достаёт, при этом немало наслышан о моих прежних успехах в борьбе с расколом и ересями, о ревностном исполнении служебного долга и неумолимой суровости, с каковой я приводил в единоверие керженские и чернораменские скиты, а потому обращается ко мне с просьбой оказать помощь и содействие в расследовании, дабы изобличить фанатиков-изуверов, привлечь их и прочая.

После ознакомления с сей запиской мне на память поневоле пришёл рассказ (весьма недурной, кстати, а вот название позабыл) Алексея Феофилактовича Писемского, пропечатанный лет пятнадцать или более назад в «Современнике». В нём тоже ведётся речь о таинственных пропажах девок, приписываемых народной молвою лешему. Причём действие, помнится, разворачивалось именно что в Чухломском уезде! На поверку же разъяснилось, что всё это пустяки и виновник пропаж не в меру сластолюбивый барский управитель. Итак, изначально достоверность полученных сведений вызвала у меня серьёзные сомнения. Тем не менее, я тут же собрался и немедленно выехал. Константина же Николаича оставил за себя в Урене.

И вы меня, Владимир Иванович, знаете: мог ли я устоять, услыхав про неведомую и дотоле неизвестную мне секту? Да и вправе ли я был исключать возможность существования оной? Уж с какими нелепыми, небывалыми и изуверскими сектаторами не доводилось мне сталкиваться за годы службы! Чего стоят те же хлысты или скопцы, я уж не говорю про морельщиков, детоубивателей, само-

сжигателей, шелапунов и многих-многих других, обитавших и доныне обитающих в Брынских лесах нижегородского и костромского Заволжья. Признаться, польстило мне и сделанное исправником упоминание о прежних моих заслугах и победах. Хотя заслуги те далеко не всем пришлись по нутру. Керженские беглопоповцы, к примеру, иначе как «сыном пагубы, отступником Христовым» меня не именуют, говорят, что я-де знаком с чертями и при моём появлении гаснут свечи. В тех местах по сию пору ходит про меня одна легенда: дескать, когда я ночью увозил из Шарпана икону Казанской Богородицы – великую их шарпанскую святыню, то на плотине у речки Белой Санохты, под Зиновьевом, вдруг ослеп. И хотел, устрашившись, тут же бросить ту икону в реку, но дьявольским наущением отвращён был от этого; зато потом мне от дьявола же зрение возвернулось. Вот ведь оно как! Вам ли, друг мой, не знать какая это сущая ерунда, сколь далеко это от истины. Да, я всегда был и остаюсь врагом религиозного фанатизма, аскезы и начётничества. Впрочем, я, кажется, вновь вдался во многоглаголание, а посему спешу вернуться к предмету настоящего письма.

Опуская подробности поездки, перехожу сразу к встрече с исправником Иваном Андреевичем Кокориным, каковая состоялась в назначенном им месте – в деревне Филино Алешковской волости Чухломского уезда. Иван Андреевич оказался мужчиной в летах, но помоложе меня – лет этак сорока с гаком, представительной наружности и статного сложения. Он с первого погляда произвёл на меня самое благоприятное впечатление: в прошлом боевой офицер, участник трагической для нас Крымской войны, на груди – медали за оборону Севастополя и за усмирение недавнего польского мятежа (последняя – из светлой бронзы – порадовала меня особенно), значит, побывал в переделках; речь обстоятельная, манеры исполнены достоинства. В общем и по всему, человек на этой должности не случайный. В становой квартире, где ожидал меня капитан-исправник, присутствовали помимо него также местный преподобный – тонкий да звонкий, седой как лунь старец с козлиной *(последнее слово вычеркнуто)* жидкой бородёнкой, какие обыкновенно изображают у китайских мандаринов; ещё дюжий рябой детина с отёчным лицом и востроглазый мужик лет тридцати с кудрявой русой шевелюрой.

– Имею честь представиться: чухломской земский исправник Кокорин Иван Андреич, – отрекомендовался исправник. – Спасибо, Павел Иваныч, что не оставили мою просьбу без внимания. Это вот, – исправник указал на преподобного, – отец Зосима, священник церкви Ильи Пророка села Верхняя Пустынь, он здесь на правах старожила, хранителя, так сказать, преданий старины глубокой, ну и от духовных властей. А эти господа, – кивнул он на остальных, – представители уездной полиции, которые, так сказать, сопричастны и... гм... будут полезны. Вот здешний хозяин – становой пристав...

– Степан Звонов, – просипел рябой детина, распространяя вокруг злой водочный дух. И зачем-то добавил: – Не имеющий чина, из чухломских мещан.

– А этот вот, сотский Ефим Турусов. Он местный, филинский и сможет засвидетельствовать, поскольку всё, так сказать, на его глазах...

– Точно так-с, вашбродь, – тряхнув кудрями, подтвердил сотский.

Перезнакомившись таким образом, мы сели чаёвничать. Стол уж был накрыт.

– Ну что же, Иван Андреич, рассказывайте, какая такая диковинная секта у вас завелась, – спросил я исправника, – которая девок уводит. Между прочим, личность последней похищенной известна?

– Известна, Павел Иваныч, как неизвестна, – несколько смущённо подтвердил исправник. – Впрочем, полагаю, правильнее, если про неё вам расскажет пристав Звонов, как лицо изначально владеющее всеми, так сказать, деталями… Докладывай, Степан!

– Слушаюсь, ваше высокобродие! – вскочил пристав.

– Ты, Степан, чаю, что ли, похлебай, – поморщился исправник, – а то несёт как из бочки. Нехорошо, братец, право нехорошо.

– Чай нам не по нутру, – пробурчал пристав, переминаясь с ноги на ногу.

– Известно! Было бы винцо поутру. Тогда пожуй чего-нибудь, вон хоть баранку. И садись, не на плацу же.

– Да, давайте без церемоний, – поддержал я. – Время дорого – пропал человек, а мы политесы разводим.

Пристав послушно пихнул в рот баранку и продолжил с набитым ртом:

– Пропавшую зовут Настасьей Теляевой, девка неполных семнадцати лет, тутошняя она, филиновская. Пропала четверо суток назад. Сегодня только сыскалась.

– Как сыскалась? – не понял я.

– Сама воротилась, – пояснил пристав.

– Стало быть, и пропажи никакой нет? Может, и с сектой та же история?

– Так ить она нецелая воротилась.

– Что значит «нецелая»? Надругались, что ль, над нею?

– Про это самое ничего не знаю, поскольку девка не в себе сделалась, полоумная. А нецелая, потому как у ней три пальца – мизинец, средний и безымянный – на правой руке напрочь откушены.

– Откуда известно, что именно откушены? – уточнил я. – Может, отхватила серпом, топором оттяпала или ещё как?

– Таково заключение земского доктора Колокольского, который осмотрел её по моей просьбе, – вставил исправник.

– Сама-то как объясняет? – спросил я.

– Говорю ж, вашбродь, не в уме девка. Бормочет что-то про «чудь белоглазую», которая её в Чудь-гору утащила, и там, в той Чудь-горе, двое суток держала. А она оттель как-то сама сбегла, а после ещё двое дён плутала по лесу, ягодой да грибами питалась, покудова не вышла к соседней деревне Чурилово. Ещё бает про чудского божка Кузю, которому-де её в жёны там уготовили.

– Вы же понимаете, Павел Иванович, – вновь вступил в разговор исправник, – что не стал бы я вас беспокоить из-за какой-то пропавшей девки. Не столичному же начальству эдакими делами заниматься. Тут важно, что не первая она такая. Как я вам и писал, тут действует стародавняя и притом тайная секта.

– Давайте по порядку и с самого начала, а то мы этак до сути никогда не доберёмся, – предложил я.

– По порядку вернее, – согласился исправник. – Тогда предлагаю следующий порядок: пускай сначала пристав Звонов изложит обстоятельства нынешнего похищения Настасьи Теляевой, а сотский Ефим дополнит, как и отчего. А после того отец Зосима расскажет, что в здешних местах известно про секту (или кто там эти лешие?), пояснит, так сказать, предысторию вопроса. Я же со своей стороны представлю обстоятельства, ставшие мне известными по ходу следствия.

– Давайте так, – согласился я. – Только я хочу после сам ту Настасью допросить.

На том и порешили.

(Далее был густо вымаран целый абзац; я не стал его разбирать, а перешел к следующему.)

Но я уже вижу, Владимир Иванович, что письмо моё стремительно превращается в беллетристический рассказ и едва ли не в духе Эдгара Поэ, а посему, дабы не затягивать повествования, изложу своими словами содержание дальнейшей беседы, а также того, что поведала мне девица Настасья, которую я допросил в тот же день.

Со слов пристава Звонова и сотского Ефима выходило, что Настасья Теляева пропала с 23 на 24 июня, аккурат в ночь на Иванов день. Вы, Владимир Иванович, знаете, что купальскую ночь во многих местностях Заволжья по сию пору празднуют, несмотря на очевидно языческий характер этого праздника. Как ни старалась церковность истребить всякие остатки языческой обрядности, много обломков древней старорусской веры доселе сохраняется в нашем простонародье. Вот и Настасья отправилась на закате с подружками на речку Вексу жечь костёр, купальные травы да банные веники собирать, ну и в Вексе купаться, понятное дело. Пошла, а назад не вернулась. Подружки божились, что была она с ними до последнего; и они только тогда её хватились, как засобирались по домам; искали и кликали до самых петухов, потом вернулись с мужиками, но всё попусту – Настя как в воду канула. Да только в той речке Вексе не утонуть – больно мелка и омутов рядом нет. Думали разное: заплутала в лесу, лихого человека встретила, а то мог медведь заломать, в чухломских лесах их пропасть.

А утром, в день моего приезда, её бесчувственной нашёл пастух в березняке у поля, что возле деревни Чурилово, в пятнадцати верстах от Филино. Вместо сарафана на ней дерюга драная, сама с ног до головы исцарапана, точно через ежевичные кусты напрямки ломилась, и трёх перстов на правой руке не хватает. Уже дома – а жила она без матери, со вдовым отцом, мужиком непутным, запойным, который даже и в поисках дочери не участвовал, а все дни провалялся пьяным, – маленько прочувствовавшись, Настасья поведала, что когда она с другими деревенскими девками купальные травы собирала, позвал её из лесу, из-за сосенки, некий голос, ласковый такой, шепотливый, вроде женского, по имени позвал: «Подь-ка сюды, Настасьюшка, подь, голуба-душа, глянь-кось, чего у меня есть для тебя». Девка сначала поостереглась, хотела подружек кликнуть, а голос снова: «Ты только не говори никому: у меня от матушки твоей гостинец, как помирала, горемычная, наказала передать тебе на Иванов день, во купальску ночь». Осмотрелась Настасья: костёр весело горит, потрескивает, луна, от реки отражаясь, ярко светит, вокруг видать всё, ровно белым днём, да и подружки вот они, рядом, в речке плещутся, песни поют. Чего бояться? Она и зашла за сосенку-то. Зашла, глядь, никакой женщины там и нет, а стоят три мужичка: дробные, ниже её ростом, бородами по самые глаза поросли, а глаза – белые, белые, только зрачки угольками чернеют. Скумекала тут Настёна, что это её чудь белоглазая заманивает, хочет своему богу Кузе в жёны отдать. Дёрнулась прочь, да куда: сзади ей руки-ноги обхватили, повалили наземь, на голову мешок или что другое нахлобучили; она девок на помощь звать, да сквозь мешок не больно покричишь, а за смехом девичьим и песнями купальскими те, видно, не услыхали, а тут ей рот зажали и уволокли в лес. Тащили долго, она всё брыкалась, норовила вырваться, убежать, тогда похитители сделали остановку, всю её с головы до пят лыками обвязали и дальше понесли.

Очнулась она в какой-то каморе без окон, вроде чулана; лежит она, развязанная уже, на свежей соломе, вдоль стен – не то каменных, не то глинобитных,

не разобрать – толстые сальные свечи горят, будто в храме на двунадесятый праздник, а супротив неё, у самого изголовья, на корточках, по-татарски, сидит дед: страшный, жёлтый, тощеватый такой, но без бороды – лицо скоблёное, а на глазах стёклышки, «как у фершала», только синие. И принялся тот жёлтый дед её уговаривать да началить, чтобы вела себя послушно, делала всё, что ей велят, и тогда-де будет ей счастье великое: примет её бог Кузя в законные жёны, и станет она как сыр в масле кататься – в золоте ходить, в руках серебро носить – ни в чём отказа иметь не будет. Ну а ежели супротивиться или того хуже – бежать удумает, то вовек уж белого света не увидит. И ставит перед ней липовую плошку, по виду с кашей, только вроде как с грибами, и строго так велит: «Ешь! Кузя до тощих девок не охотник». Настя не посмела перечить и поела той каши. А как поела, разморило её шибко и на сон потянуло. Долго ли спала, коротко ли, она не знает, только как очи размежила, видит, старуха над нею склонилась – чистая Яга! Горбатая, простоволосая, лохмы седые до пупа висят, нос в подбородок упирается, а изо рта три зуба щерятся. Проскрипела та карга что-то не по-нашему и ткнула узловатым пальцем в большую бадью с водой, которую, видно, пока Настя спала, в камору притащили, и руками эдак показывает, дескать, полезай мыться. Девка поначалу головой крутила, но ведьма как зашипит на неё, точно кошка бешеная, Настасья, делать нечего, скинула с себя сарафан и залезла в бадью. Ведьма сама её помыла жестким мочалом, выскоблила ровно чугунок, едва кожу не ободрала. Настасья ничего, вытерпела и это, напугана была шибко. После мытья старуха забрала её сарафан, кинув взамен дерюжку, чтобы наготу прикрыть, и принесла ей снова плошку с грибной кашей, а сама скрылась в узкой дыре, что зияла в стене узилища этого, и в которую только в три погибели согнувшись можно было залезть. Тут уж девка смекнула, что каша та сонная и не стала её есть – вывалила на пол да соломой прикрыла.

Через несколько времени после слышит – шаги; не будь дурой, притворилась она спящей, а сама поглядывает из-под ресниц. Заходят трое: давешний жёлтый старик со стекляшками, а с ним двое белоглазых, лядащие, ровно сморчки лесные; встали над нею и давай что-то на своём тарабарском наречии балакать. Жёлтый старик на неё показал и говорит: «нейжне», а те давай причмокивать: «чёма, чёма, чёма». Потом сдёрнули с неё дерюжку и принялись всю её ощупывать, как кобылу на ярмарке. Настасья и это стерпела, хоть и жутко и срамотно ей то было. Жёлтый дед запалил пук каких-то сухих духовитых трав и обкурил им спящую. От запаха тех трав – тяжёлого да горького – Настёна едва снова не впала в забытьё. Наконец чудь ушла, девка же, выждав сколько-то, вскочила, намотала на себя кое-как дерюгу вместо сарафана, лыками для крепости обвязалась да и полезла в стенную дыру. За ней обнаружился лаз вроде норы, по которому двигаться можно было лишь на четвереньках. Долго она по нему ползла, коротко ли, девка не запомнила, только постепенно проход стал расширяться, и вот уже она смогла встать и идти в полный рост.

Вдруг слышит девка впереди глухие ритмичные удары, будто кто в полую колоду тукает, а потом и голоса различила. Голоса те пели что-то не по-нашему, то стихая, то поднимаясь до визга, как на хлыстовских радениях. Настя было затаилась, хотела уже назад повернуть, да прислушалась: вроде пение не приближается, и решилась – крадучись двинулась далее. Голоса поющих меж тем становились всё громче, явственнее; а потом Настасья увидела впереди свет, только не дневной, а будто сполохи от костра по стенам пляшут.

Пройдя ещё сколько-то, увидала девка, что лаз уходит дальше на подъём, но в его правой стене зияет отнорок, уводящий вглубь. Из этого-то отнорка и идёт свечение и голоса слышны. Заглянула она в ту дыру и видит: крутые ступеньки ведут вниз, в пещеру, а там – костры горят и чуди видимо-невидимо. С полста бородатых карлов со смоляными факелами в руках беснуются, поют непонятное, в самой же серёдке на высоком каменном топчане сидит голый мужик – огромный, ровно медведь, дородный, дебелый; телеса его сплошь какими-то чёрными полосами да завитушками изрисованы, башка выскоблена, как яйцо, аж отсвечивает, рожа носатая да толстогубая от жира лоснится. В правой ручище у него кость белая, перед ним, промеж кривых ног, большой медный котёл стоит, сверху вроде как кожей обтянутый; и лупит тот детина по котлу костью, как в бубен, а чудь в лад тем ударам подскакивает да подвывает.

Потом, смотрит Настасья, сквозь толпу чуди пробираются давешний старик в синих стекляшках и карга простоволосая, что её в бадье купала, и волокут под руки бесчувственную нагую девицу, лишь веночек из болотных кувшинок у ней на голове, а на теле живого места нет: всё исцарапано, в кровоподтёках и страшных укусах – как застарелых, так и свежих; местами прямо куски мяса выхвачены, словно её свора голодных собак погрызла. Тут детина на ноги вскочил и принялся ещё шибче по котлу лупить, а уд срамной у него, как у семенного быка перед случкой – дубина дубиной. Девка та голая очнулась и, увидав куда её тащат, ну голосить дурным голосом; вдруг – откуда силы взялись – вырвалась да наладилась прочь бежать. И вот только она лицом-то повернулась, Настасья враз признала в ней Агафью – старшую дочку старосты Пантелея, которая два года назад аккурат в эти же июньские дни сгинула, и про которую мир решил, что она от отцовской строгости с отходниками в город подалась. Однако ж теперь далеко убежать ей не дали: щипками да шлепками погнала её чудь обратно к той образине с бубном. А бугай отшвырнул прочь кость и как ухватит Агафью за волосья, наземь как швырнёт, сам сверху на неё как кинется, и давай её, горемычную, катать да валять по всей пещере.

Долго он так с нею тешился, Настасья же видела всё это и, оцепенев от ужаса, даже и пикнуть боялась. Вдруг леший этот в горло девке, как волк лесной, вцепился и – ну грызть, ну грызть с урчанием утробным, аж кровь во все стороны брызнула! Та ногами эдак мелко-мелко задрыгала и обмякла. Тут он заревел, точно сохатый по осени, коленями грудь Агафье придавил и обеими ручищами хвать её за голову. А чудь ещё более в раж вошла: скачут все, факелами машут и орут: «Рикта! Рикта! Рикта!». Бугай поднатужился да и оторвал девке башку, ровно курёнку какому; потом за волосы голову вздёрнул, раскрутил да и метанул через всю пещеру прямо Настасье под ноги. Тут уж та не сдюжила – в крик и прочь бежать что есть мочи. А чудь, с воем да вигом истошным, следом.

Себя не помня, добежала Настя до выхода из той норы, наружу сунулась, а там, под ногами – склон едва не отвесный, вот она и замешкалась чуток. Обернулась проверить, далеко ли погоня, а прямо за спиной бугай этот разрисованный стоит, на неё уставился буркалами своими. Морда вся в крови агафьиной, взгляд тяжёлый, мертвящий, как у аспида, аж ноги у девки отнялись – хочет бежать, а шелохнуться не может. Подняла она кое-как руку, дабы крестное знаменье сотворить, он оскалился – зубищами клац – и скусил ей три пальца на правой длани напрочь, ровно стручки гороховые. Настасья от боли назад прянула и – кубарем под гору. Удивительно, как руки-ноги не переломала, пока с горы той катилась.

Ну а потом двое или трое суток по чащам да болотам скиталась, покуда к людям не вышла. Чудом от чуди спаслась, не иначе. Ведь в лесу те инородцы, надо полагать, как дома себя чувствуют. Видно, Бог упас...

Вот такую историю поведали мне пристав Степан Звонов и сотский Ефим Турусов, а капитан-исправник со своей стороны дополнил некоторыми подробностями. Примерно то же, только короче и сбивчивее, поскольку пребывала в жару и едва не бредила, после рассказала мне и сама Настасья Теляева.

Настоятель церкви Ильи Пророка отец Зосима в целях прояснения обстоятельств изложил нам историческую подоплёку нынешних событий, каковая свелась к следующей легенде: в стародавние времена, задолго до Иоана Грозного, жил-де в этих местах народ чудского племени. Были те инородцы закоснелыми идолопоклонниками, и шла про них слава как о чародеях и волхователях изрядных. Из-за белёсых, почти прозрачных глазных радужек прилепилось к этому племени прозвание «чудь-белоглазая». Когда же пришли сюда оседлые русские люди, не вынесла чудь соседства с православным христианством и всем скопом, с бабами и детишками, ушла под землю – в Чудь-гору, где обретается и поныне. И якобы молится эта чудь-белоглазая своему живому богу, именем Кунингазс, которого наш простой народ переиначил на свой манер, прозвав Кузей. А ещё, рассказал Зосима, совсем недавно – каких-то полсотни лет назад, здесь в округе черемиса обитала. Несмотря на то, что числились черемисы воцерковлёнными и православными, однако ж, скорее, по форме. По правде же, как полагал отец Зосима, продолжали коснеть в язычестве. Как бы то ни было, немало их селений тут стояло, и вот эти-то черемисы, почитая себя данниками чуди, ежегодно в ночь на Ивана Купала приводили к подножию Чудь-горы девку своего племени и оставляли там на ночь, а белоглазые под покровом темноты из своих нор выходили и забирали уготованную жертву, как считалось, в жёны подгорному богу. Но шло время, и постепенно поселения черемисов безлюдели (очень возможно, не последнюю роль в их оскудении сыграл как раз сей изуверский обычай), пока лет пятьдесят назад не опустели под корень. Долгое время после того всё тихо да покойно было, как вдруг где-то лет двадцать тому назад стали из деревень Алешковской волости пропадать молодые незамужние девицы. Хотя и не каждый год такое случалось, но всякий раз – накануне или вскоре после купальских гуляний, а частенько и в саму Иванову ночь. Понятное дело, по деревням в народе пошёл слух, дескать, это чудь-белоглазая озорничает. Да только земство, как волостное, так и уездное, никаких мер на сей счёт не принимало, почитая подобные слухи проявлением народного невежества. Про губернское начальство и говорить нечего. А ещё по словам отца-настоятеля упомянутая Чудь-гора, в недрах которой те язычники вместе со своим живым богом схоронились, находится в заповедных чащах здешних алешковских лесов, и в погожие дни её поросшую дремучими елями вершину даже и из Филино видать. Но ходить туда никто не ходит – боятся.

Однако же, как вы, Владимир Иванович, наверное, догадываетесь, история этим не закончилась. Ведь земский исправник меня не для того за столько вёрст зазвал, чтобы я выслушивал старинные сказки. Надо было теперь решить, какие должно принять ввиду случившегося меры. Я предложил было, не мешкая, снарядить полицейскую экспедицию к той Чудь-горе и на месте удостовериться насколько соответствует истине древнее предание, а равно есть ли правда в рассказе самой Настасьи Теляевой. Но пристав с сотским в один голос убедили меня, что сей прожект неисполним, поскольку-де гора та велика и обширна, дебрями

лесными покрыта и целого полка солдат не хватит, чтобы всю её обшарить, даже если до осени искать станем. Стоит отметить, что сотский Ефим вообще настроен был весьма скептически и остальных призывал не верить Настасье на слово, дескать, та «колокол льёт» и следовало бы её «примерно наказать и вся недолга». Впрочем, пристав Звонов быстро его пресёк, заметив, что сотский клепает на девку со зла, потому как затаил на неё личную обиду, и Ефим тут же стушевался.

Что ж, принялись мы наново судить да рядить, как вдруг Степан Звонов по столу рукой хлопнул и говорит: «На живца, ваши высокобродия, ловить надобно!» В ответ на наше общее недоумение пристав предложил следующий хитроумный план. «Помнишь, Ефим, – обращаясь к сотскому, начал он, – как два года назад, аккурат перед самой пропажей старостиной дочки, случай был с девкой Акулькой, ну рыжая которая?» «Это на Аграфену Купальницу-то? Когда бабы на закате из бани возвращались? Помню, как не помнить, – отвечал Ефим Турусов. – Так ить она не пропадала. Так, напужалась только». «Это верно, – кивнул Звонов. – А после рассказала, что когда ломала в березняке банные веники, поотстав маленько от остальных, видит, в ореховом кусте бородатый мужичок-недомерок сидит – страшный, белоглазый, а потом, глядь, ещё двое таких из-за пня вылезли и к ней подбираются. Обомлела она со страху, да тут на её счастье бабы вернулись и белоглазые сгинули, как в воду канули». «Мирские пересуды, – пожал плечами Турусов. – Бабы они завсегда так: на супрядках аль у колодца зачнут языками молоть... Что их слушать?» «Рассудлив ты, Ефимка, не по годам, – заметил пристав. – Заладил одно, как сорока Якова. А я вот про что: после того случая девки поостереглись и не пошли ночью, как заведено, костры жечь и в Вексе купаться, а потому Иван Купала без потерь минул. Да только всё одно, через четверо суток, в ночь на Петров день пропала Агафья, филинского старосты Пантелея дочь. Я к тому веду, что раз Настёне удалось из Чудь-горы сбежать, белоглазые, наверное, станут пробовать ей замену найти; видать, не может их бог долго без бабы обходиться. Вот и следует нам подсунуть чуди новую невесту. Отведём её в лес, поближе к Чудь-горе, а сами в засаду сядем. Так и накроем этих изуверов». «Кто ж из деревенских решится на такое? – усомнился исправник. – И вправе ли мы рисковать невинной жизнью?» «Никакого особливого риска, ваше высокобродие, – заверил пристав. – Ефим у нас опытный охотник, на медведя не раз хаживал, и я ружьишком балуюсь, а про вас и говорить нечего. А решится кто? Да, вон, хоть та же Дунька Тараканова! Она за мзду малую хоть к чёрту в пекло согласная». «Тараканиха? – ухмыльнулся Ефим. – Из Чурилова которая? Да, эта может. И горевать, если дело не сладится, по ней некому: ни сродников, ни свойственников – сирота. Только польстится ли кто на эдакую, больно рылом погана».

Опуская дальнейшие споры-разговоры, скажу сразу: после долгих обсуждений и сомнений, все, кроме разве отца Зосимы, который, ввиду позднего времени, покинул нас раньше, сошлись на том, что лучшего варианта, нежели предложенный приставом Звоновым, нам не придумать. И уже на следующий день вся наша компания: ваш покорный слуга (разумеется, я настоял на своём участии в сей авантюрной экспедиции), исправник Кокорин Иван Андреевич, становой пристав Степан Звонов и сотский Ефим Турусов, пробиралась по лесу в направлении пресловутой Чудь-горы. Впереди, на изрядном от нас удалении, но в пределах видимости, шествовала упомянутая Дуня Тараканова – рябая, неуклюжая, как ступа, зато здоровенная девка, которая действительно без особенного труда позволила себя уговорить за пять рублей серебром. Сотский с приставом были при ружьях,

мне исправник выдал однозарядный пехотный пистолет старого образца, сам же вооружился шестизарядным французским револьвером Лефорше. «Трофейный, с Крымской войны», – пояснил он.

Когда мы вышли к подножию Чудь-горы, стало смеркаться, и все согласно постановили дальше сегодня не ходить, а обустроить засаду здесь. Развели на небольшой луговине костёр, а Дуньке велели у огня сидеть да песни петь, чтобы её издалече слыхать было. Пристав дал ей фляжку с водкой – для сугреву и для смелости, а мы соорудили себе по обе стороны от той полянки шалашики, укрыли их еловыми лапами и в них схоронились. В одном я с сотским затаился, а в другом – исправник с приставом. Лежим, ждём. А Дуня из фляжки отхлёбывает да знай себе поёт про своё, про девичье:

Сахаринка на полу,
Не ленива – подниму.
Сахар съела, песню спела,
Целовать дружка хотела.
Дударь, мой дударь молодой,
Самодударь мой, дударь молодой.
Ты играй, играй, дударик на дуду,
Я, младёшенька, плясать пойду.

Я, чтобы как-то скоротать время, тихонько перешёптывался с Ефимом и, между прочим, высказал сомнение в успешности нашего предприятия, которое всё более и более представлялось мне чистейшей аферой, заметив также, что на «невесту» нашу разве медведь позарится. «Как знать, вашбродь, – пожал широким плечом сотский, – как знать. Предыдущая-то, Агафья Пантелеева, тожа не прынцесса была – левый глаз слепой, бельмастый, да и хроменькая... Ей ведь двадцать пятый годок шёл – перестарок, никто сватать не хотел. А высидеть мы здесь ничего не высидим, в этом я с вами согласный. Бабьи сказки всё это, про чудь-белоглазую, про бога Кузю. Я так себе разумею: с полюбовником Настька сбежала, из соседней деревни, али с купчиком каким заезжим, да что-то у них, видно, не заладилось. Может, прибил он её и прогнал от себя, вот она и блажит». Между тем Дуня затянула печальную, с причитаниями песню:

Неравно-то муж достанется –
Ой, либо вор да горький пьяница,
Либо старый пёс удушливой,
Да либо ровнюшка да недружливой.
Уж я старого да утешила бы,
Среди полюшка ой повесила бы
Да на тонкую-то осинушку,
Да на самую-то вершинушку,
Вот вершинушка ой да качается,
Да мой старый пёс болтается.

Уже настал вечер, высота небесная потускла, и заискрились на ней бледные звёздочки, но Луны видно не было. Тёплый воздух наполнили благовонные запахи ночных трав, в небе то и дело вспыхивали зарницы. «Курить страсть охота, – прихлопнув на шее комара, вздохнул Ефим, – да нельзя, Иван Андреич заругает». Я попросил сотского рассказать мне о всех прошлых случаях подозрительных исчезновений окрестных девок. К слову, Владимир Иванович, народный говор в

Чухломском уезде отличается значительным своеобразием. Если в прочих местностях Костромской губернии, со всех сторон окружающих чухломские земли, окают, то здесь произношение московское, на «а», и аканье выражено даже явственнее, резче, нежели в Первопрестольной. Пока мы так шептались, у нашей фальшивой невесты, вероятно, под влиянием содержимого фляжки, настроение изменилось. Задорно гикнув, она запела:

Пошла Катенька горошек молотить,
Её некому за ой-ой-ой схватить,
Вот нашёлся парень бравый, молодой,
Привалил её к овину головой.
Заголяет он пестринный сарафан,
Вынимает кукареку с волосам...

«Ух, зазорная девка, – усмехнулся в усы сотский. Но вскоре обеспокоился: – Чего она песню-то оборвала?... Сползать, разве, вашбродь, посмотреть?». Однако раздавшийся следом шум, треск и придушенный дунькин крик заставили нас всех вскочить на ноги. Кинулись мы к костру, глядим, у нашей Дуни на плечах повисли два мужика – в вывернутых мохнатых тулупах, мелкорослые, лохматые – чисто лешаки, а третий такой же – ей на голову мешок нахлобучил и уже вокруг шеи верёвку вяжет. «Не стрелять! – крикнул исправник. – Девку зацепите!» Тут Тараканиха поднатужилась, поднапружилась, на ноги поднялась да обоих поганцев с себя стряхнула, ровно котят, а тому, что её верёвкой вязал, так поддала коленом в грудь, что он улетел прямиком в костёр. Разом потемнело – не разберёшь, где кто. «Хватай, вяжи нехристей! – вновь скомандовал исправник. – Уйти не дай пога...». Не договорив, он с руганью схватился за колено и рухнул наземь. А в следующий миг в нас со всех сторон полетели увесистые булыжники. Один из камней просвистел у самого моего виска. Я упал в траву, но успел разглядеть между окружавших поляну деревьев смутные невысокие фигурки, которые, раскручивая что-то над головой, метали в нас камни. Подняв пистолет, я выстрелил в одного из них, но, кажется, и близко не задел. Остальные тоже принялись палить в сторону леса, но фигурки врагов то появлялись, то исчезали во мраке, так что стрельба велась наугад, почти вслепую. Тем временем целая толпа лесных жителей накинулась на Дуню. Облепив девку, как мураши гусеницу, они повалили её и стремительно уволокли в чащу, покрывавшую Чудь-гору до самой макушки. Обстрел тут же прекратился.

Осторожно поднявшись на ноги, я осмотрел поле битвы: исправник сидел, держась за разбитое колено, а пристав Звонов, опершись о ружьё, смотрел куда-то вниз и сокрушённо охал. Было ясно, что наша засадная экспедиция окончилась полным фиаско. «Где Ефим?» – спросил исправник. «Здесь он, – ответил пристав. – Кажись, кончается». Я помог Ивану Андреевичу подняться, и он с моей помощью кое-как допрыгал до пристава. У его ног мы увидели сотского; он лежал с окровавленной, похоже, проломленной головой и был без сознания. Пристав склонился к нему, прислушался: дышит. «Девку надо идти спасать, пропадёт, – заявил исправник. – Только как быть с Ефимом?» «Куда вам, ваше высокобродие, идти, – возразил пристав. – Я эту кашу заварил, мне и расхлёбывать, а вы тут Ефима постерегите». Иван Андреевич поначалу заартачился, но я решительно поддержал Степана, заметив, что надо спешить, а исправник с его разбитым коленом будет нам лишь в обузу. Как человек трезвомыслящий, тот вынужден был согласиться и отдал мне свой револьвер, сам же взял ружье сотского.

Пристав обмотал палку берёстой и соорудил себе факел, я же получил от исправника масляный фонарь со стеклянной, предохраняющей от ветра, колбой, который тот с военной предусмотрительностью захватил с собой. Снарядившись таким образом, мы отправились в погоню, благо, земля сохранила явственные следы волочения дородного дунькиного тела, а тут ещё Луна взошла нам в помощь. Однако не прошли мы и ста саженей, как след оборвался. Шарили мы со Степаном, шарили – всё без толку: нигде ни единой веточки не поломано, а под ногами – толстый слой нетронутой хвои. «Чертовщина, – ворчал пристав, – не сквозь землю же они провалились?» Тут-то меня и осенило: именно что под землю! Воротились мы к тому месту, где след обрывался, и стали тщательно всё вокруг обыскивать. «Нашёл!», – через несколько времени крикнул Степан, обнаружив под корнями кряжистого тысячелетнего дуба квадратный лаз, надёжно скрытый зарослями папоротника и уводящий куда-то в непроглядную тьму, в недра Чудь-горы. Я полез первым, Звонов Степан – следом.

Стены лаза были укреплены брёвнами, поддерживающими бревенчатый же настил. Высота его составляла не более полутора аршин, поэтому двигаться пришлось по-собачьи, на четвереньках. Факел Степана потух, да в столь узком проходе он бы только мешал, и путь нам освещал лишь тусклый свет масляной лампы. Сколь долго мы так ползли, не знаю, мне тогда показалось, что целую вечность, и я уж, грешным делом, стал подумывать не поворотить ли назад, как вдруг впереди забрезжил свет. Я задул фонарь и сделал знак Степану, чтобы не шумел. Лаз вывел нас в галерею, по которой можно было уже идти в рост, хотя и пригнув голову. Через каждые пять-шесть саженей в выложенных из необработанных камней стенах крепились глиняные плошки, заполненные неким жиром с плавающими в нём горящими фитильками. Где-то через версту мы очутились перед развилкой: левый проход был освещён, правый же уводил в чернильную тьму. Мы прислушались: слева явственно доносились голоса и глухие ритмичные удары, и мы свернули туда.

Шагов через полста галерея уперлась в стену, в которой зияла расщелина; из неё-то и слышались голоса и удары. Протиснувшись в щель, мы очутились в обширной пещере, и нашим глазам открылась следующая поразительная картина. Под сводами пещеры, по всей её окружности, на равном удалении были проделаны отверстия, через одно из которых мы и проникли внутрь; от тех проходов крутым уступом шли ступени, спускавшиеся к овальной площадке, вроде арены, как в античном амфитеатре. Всю арену и часть ступеней заполняла возбуждённая толпа чуди – мужчины, женщины и даже дети; многие держали в руках смоляные факелы. В центре арены на каменном возвышении восседал жирный толстопузый урод – натуральное чудовище: исполинского роста, лысый, голый, разукрашенный по телу чёрными рисунками, как это делают американские индейцы и некоторые наши сибирские инородцы. Глубоко запавшие глаза его, под тяжёлыми, как кузнечные оковалки, надбровными дугами, казались парой чёрных угольков, источавших некое тёмное свечение. Кошмарный облик дополняли мощные выступающие челюсти при совершенном отсутствии подбородка. «Полно, да человек ли это?» – невольно усомнился я. В левой руке он держал белую кость, весьма походившую на берцовую человеческую, и равномерно колотил ею в стоящий перед ним медный чан, а окружавшая своего живого бога паства, помавала факелами и речитативно, с подвываниями пела: «Кунингазс! Кунингазс! Мейде Кунингазс, сюнд Кунингазс! Кунингазс-мадо!».

А у подножия каменного возвышения лицом вниз лежала наша Дуня. Одежда с неё была сорвана, руки связаны за спиной; спину и бёдра испещряли кровавые царапины и укусы; она не шевелилась. Неужто мы опоздали и беззаконная жертва уже принесена? Я, честно признаться, совершенно растерялся, что делать далее, как поступить. Выстрелить в чудище? Но в моём револьвере оставалось четыре патрона... Даже памятуя о ружье пристава, *что* это против целой толпы чуди? Они же нас просто растерзают! Однако, пока я так мучился сомнениями, Степан, недолго думая, вскинул ружье да и выпалил в чудского бога. Под сводами что-то заворчало, точно в ненастный день перед громовым раскатом, и сверху дождём посыпались мелкие камешки. Когда пороховой дым рассеялся, стало видно, что примолкшая чудь оборотилась и вся смотрит на нас, а по груди восседавшего на каменном троне чудовища сбегает алая струйка крови. Но вот страхолюдный исполин медленно, как ни в чём не бывало, поднялся во весь рост и вперил горящий взор свой в Степана. А потом оскалился, поднял руку и молча указал ею на пристава. Не знаю, что послужило причиной дальнейшему: колдовская ли сила взгляда чудского божества или иное что, только пристав безвольно уронил ружьё и как зачарованный пошёл по ступеням вниз, прямо в лапы чудища. Я ухватил Степана за плечо, но тот, не оборачиваясь, вывернулся из моих рук и ускорил шаг. В совершенном отчаянии я послал две пули в треклятого Кузю, а потом дважды выстрелил вверх. Страшный грохот сотряс пещеру... И начался ад кромешный! Земля у меня под ногами содрогнулась, и огромные глыбы стали рушиться со сводов прямо на головы побежавших во все стороны людей чудского племени. Всё заволокло густыми клубами, из которых доносились отчаянные вопли, звуки ударов, стоны. Я увидел, как каменный обломок размером с телегу рухнул и придавил собою чудского бога. В тот же миг, словно избавившись от наваждения, Степан Звонов пришёл в себя, и мы вместе кинулись к Дуньке. Пристав разрезал её путы, перевернул на спину и приложил ухо к груди: жива! Вдвоём мы подхватили бесчувственную девку под руки и, уворачиваясь от продолжавшегося камнепада, поволокли к выходу из подземелья. Бросив взгляд назад, я заметил торчащую из-под каменной глыбы руку чудовища – она была шестипалой... *(далее в письме снова были густо вымараны два абзаца).*

Не стану досаждать вам рассказом, как мы выбрались из Чудь-горы, как воротились в Филино – всё это мало относится к сути моей истории. Скажу только, что сотский Ефим, нас не дождавшись, отдал Богу душу, а мы с приставом Звоновым и едва могущим передвигаться опершись нам на плечи капитан-исправником кое-как дотащили Дуню Тараканову до становой квартиры, препоручив там обоих доктору Колокольскому.

Само собой я отправил Александру Егоровичу Тимашеву подробный доклад о сём происшествии, да только ходу ему дадено не было. Сколь мне известно, доклад засекретили и упрятали в архив по личному настоянию обер-прокурора Святейшего Правительствующего Синода графа Дмитрия Андреевича Толстого. Последний якобы выразился в том роде, что мало нам сраму перед просвещенной Европой от всяких самосжигателей да скопцов, так тут ещё хотят секту людоедов на суд мирской вытащить. Помимо того, огласка сего доклада может-де породить враждебность великороссов в отношении инородческого населения Российской Империи. Короче сказать, история была, как у нас водится, упрятана под сукно и забыта. Однако ж этим она не закончилась.

После тех событий уж год минул, а мне случившееся всё не давало покоя, не отпускало. Летом сего года пришлось мне побывать в Ляхово – имении моей

жены; оно верстах в восьми от Нижнего. Старый господский дом ныне в полном запустении, вот и решился я наново отстроить родовое гнездо. А там, в Ляхово, запала мне мысль съездить в Алешковскую волость, проведать станового пристава Звонова да разузнать у него, какие последствия имела наша прошлогодняя кампания. Я уж знал, что капитан-исправника Кокорина вскоре после того в отставку ушли (между прочим, колено его срослось худо, он так и остался хромым. Вот ведь, согласитесь, каприз Фортуны – две войны прошёл невредимым, а тут...), Степан же по-прежнему исполнял свои обязанности. Сказано – сделано.

К моей досаде, станового застать на месте не удалось – тот был в разъездах. Тогда решился я навестить несчастную Дуню Тараканову. По понятной причине в её отношении я чувствовал себя виноватым, хотя и не моя была то идея, сделать из неё подсадную утку. Дунька как и прежде жила в соседней деревне Чурилово, в покосившейся избёнке у самого леса. Встретила она меня радушно, едва ли не как своего спасителя (хотя я того и не заслуживал), и рассказала, что дня через два после её вызволения из чудского плена исправник с приставом организовали целый поход к Чудь-горе, однако ж пользы из того не вышло. Правда, нашли они ту поляну и даже тот самый дуб, под которым нам лаз открылся. Вот только лаз оказался накрепко забит глиной и камнями, будто его там от века не бывало. Пробовали мужики другие тайные проходы в Чудь-гору сыскать, да без толку – так ни с чем в Филино и воротились. «Как ты, Дуняша, сама-то живёшь?» – поинтересовался я. «Да как, барин? – заметно поскучнев, ответила Дуня. – Ни девка, ни вдова, ни мужняя жена». Тут из кутного угла послышался детский плач. «Это что ж, дитё у тебя? Мальчик или девочка?» – спрашиваю. «Сынок», – отвечает. Заглянул я за занавесь, а там в деревянной колыбельке и впрямь здоровенький такой карапуз. «Сколько ему?» – снова спрашиваю. «Четвёртый месяц пошёл». Мальчик, увидав мать, стал просить грудь, протягивая ручонки. И что-то мне неладно показалось... Присмотрелся внимательнее – с нами крестная сила! – левая ладошка младенца – о шести пальчиках...

Вот и вся история, дорогой Владимир Иванович. Согласитесь, из неё вышел бы замечательнейший рассказ, да кто решится такое напечатать, даже если изменить все имена и самое место действия? Полагаю, никто и никогда. А сейчас меня терзает сомнение, стоит ли даже и сие письмо доверять бумаге и вам отправлять? Опасаюсь, не доставит ли оно вам какие неприятности? По здравому размышлению – не стоит.

Как бы то ни было, остаюсь вечно вам преданный А.П.»

Дочитав рукопись до конца, я поначалу решил, что это и не письмо вовсе, а черновик неизвестного рассказа Печерского. Не случайно же Павел Иванович подписал его начальными буквами своего литературного псевдонима – «А.П.», то есть Андрей Печерский, а не настоящими инициалами... А если так, тогда вся история – плод писательской фантазии, и не более.

Однако, изучив вопрос глубже, я выяснил, что письма к Далю Мельников всегда подписывал своим литературным псевдонимом, потому как именно Владимир Иванович Даль этот псевдоним для него и придумал. И потом, зачем бы тогда автору использовать имена-фамилии реальных людей? Я проверил: все упомянутые в письме лица подлинные – от министра Тимашева до земского исправника Кокорина. Конечно, нельзя исключить, что Мельников-Печерский планировал впоследствии сделать из этой истории рассказ либо повесть... Впрочем, окончательное разрешение этого вопроса я оставляю за читателем.

Николай
ТРЕТЬЯК

СТИХИ

ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Что ни пристань, то пепелище –
Дьявол нынче берёт количеством.
Душный воздух перенасыщен
Электричеством,
Электричеством...

Пряник высох – кнуты сподручней:
– Неча пялить на солнце бельма!
Чертят мачты кресты на тучах
Огоньками святого Эльма.

Громыхнёт или всё ж отпустит?
Ясность курса пока некстати –
Правдоделы воюют с грустью:
– Кто тут крайний за благодатью?

Между рифами тесновато?
Бог не выдаст, а свиньи сыты.
Так что, милый, латай заплаты,
Да припрятывай взгляд сердитый.

Не тушуйся – живи без риска,
Отгрызай по кускам сомненья!

А иное – согласно списку
Атмосферного напряженья.

ФАНТОМНОЕ

Ах, милый антураж Серебряного века!
Под властью чар твоих подведена черта:
Фонарь снесли в цветмет, на слом пошла аптека,
Осталась только ночь,
И та – совсем не та.
Теперь рефрен «поэт» – визитка рифмоплёта,
Бог гениев шепнул последнее «прости».
Творцов не перечесть, но грустно отчего-то
Их детищам внимать, влипая в муть Сети.

• **Николай Третьяк** родился в 1972 г. в Североуральске Свердловской области. Учился в Московском институте электронной техники. Освоил ряд рабочих профессий. Работал дизайнером, корреспондентом, главным редактором региональной газеты. Стихосложением увлекается со школьных лет. Неоднократно становился лауреатом и призёром российских и международных литературных конкурсов. Член Российского Союза писателей (2018). Живёт в станице Кумылженской Волгоградской области.

Рассеянно гляжу в неоновые кляксы –
Фантазия, ты где?
Погрезим об ином?
– Вон чистильщик-юнец штиблеты мажет ваксой,
Там – вывеска «Трактиръ», а дальше – «Гастрономъ».
Салоны, ателье, фотографы, девицы...
И дворник на углу –
Рязанская душа!
Да, честно признаюсь: я опоздал родиться,
Мне двадцать первый век не дорог ни шиша.

Страницы старых книг – из прошлого приветы,
В них вечность – не клише, но каждая строка.
Вот где поэт – Поэт!
А новые поэты –
Полусырой продукт Застойного Рывка.
Вы скажете: неправ,
Язвителен,
Нахален?
Других судить легко, а сам-то – идеал?
Нет-нет, конечно, нет. Совсем не идеален.
Я лишь хочу туда, куда я опоздал...

ПТИЧЬЕ

Слушал, да не слышал,
Не поверил, зная –
А теперь о чём уже жалеть?
Поднималась в небо
Птица золотая,
Но, взлетая, угодила в сеть.
Отзвенев, затихла,
Не допев, умолкла:
Все ль своё возьмут и доберут?
И пустые «если б...» –
Только кривотолки,
Там, где свечи гаснут на ветру.
Пусть родная стая
Пролетела мимо,
Обижаться смысла нет на них –
Жалость – то же чувство,
Но неумолимо
Отторженье смерти у живых.
Пятнами в тумане
Крылья или лица.
Воздух напоследок сер и сыр.

В общем-то не важно,
Люди мы иль птицы:
Каждый сам себе – огромный мир.
Ты ответь мне, небо,
Почему я не был
Среди тех, кто, сжав и завязав,
Смог,
Оставив где-то
Уходящих в небыль,
Не смотреть в их кроткие глаза?

СТОРОЖ

Сняты костюмы. Сброшены маски.
Комедианты ушли на покой.
Рампа погасла, и яркие краски
Сумрак ночной прикрывает рукой.

Сторож ворчливый в тапках домашних
Тихо бредёт от замка до замка.
Фото, афиши... Ему здесь не страшно:
Дело ль фантомов пугать старика?

Знает давно: всё притворно и лживо.
В радости – боль, а страдания – фарс.
Впрочем, чего уж там. Были бы живы:
Жизнь сотни пьес переплюнет подчас.

Много их, много блистало на сцене,
Здесь и сгорали, подобно свечам.
Вот и его тоже кто-то заменит,
Так же продолжив бродить по ночам.

Цербер вздохнул, добивая чекушку,
Шаркая, сдвинул потрёпанный стул.
Всё на сегодня. Пора к раскладушке.
Заперты двери. Театр уснул.

...Пятна прозрачного лунного света
Преобразили каморки ландшафт.
Дремлет старик. Ему снится Джульетта,
Пьющая с Гамлетом на брудершафт.

СТАРЫЙ ДОМ

В старом доме скрипят полы –
Донимает радикулит.
Пыль припудривает углы –
Вроде б дерево, а болит.

Маскируется сеть морщин
В паутинистые бинты.
Сколько ж минуло годовщин
Обезлюдевшей пустоты?

Старый дом приютил мышей –
Хоть не к месту, а всё жильцы.
Дотянуть бы до тёплых дней:
Там, глядишь, налетят скворцы.

Засоседятся на ветле –
Станет чуточку веселей.
Лишь бы выдюжить в феврале,
Лишь бы выстоять в снегосей.

Крыша вроде пока так-сяк:
Миновала беда, а вдруг?..
Возраст всё-таки
Не пустяк.
Да и как без хозяйских рук?

Сквозняки круглый год поют,
Нагло комнаты застолбя.
Слишком быстро ушёл уют
Вслед за ищущими себя.

А без них белый свет не мил.
Вот проблема – пойди реши:
Тоже ведь – одиноко сгнил,
Но живой же.

Не без души.

ШУТЫ

Оплавляясь, стекают свечи
На гербы золотых щитов.
Блеск империй недолговечен,
Нескончаем лишь смех шутов.
Средь руин, доказавших миру,
Сколь величественны творцы,
В древних гимнах латают дыры
Пустозвонные бубенцы.
Колпаки в расписных заплатах
Попрочнее иных корон:
Те на землю падут когда-то,
На изрубленный шёлк знамён.
Отгремят, отблестят и сгинут
В пыльном хламе былых эпох –

Вечность знает лишь паутину,
Да гробниц плесневелый мох.
А шутам же и дела мало
До того, что уходит в прах,
Им заботиться не пристало
Ни о ближних, ни о делах.
Кредо искренних лизоблюдов
Примитивно, как белый свет:
Есть корыто – а свиньи будут.
В них, увы, недостатка нет.

СОН

Мне приснилось:
Идёт процесс –
Суд, скрывающий грязь расправы.
Инквизитор, лукавый бес,
Судит Правду неправым Правом.
Гладя дряхлой рукой мошну,
Мечет в стены слова, как гвозди,
Подытоживает вину,
Волю дав беспощадной злости.
Задыхаясь, кряхтит писец,
Щёки жирные в каплях пота:
Кучке перьев пришёл конец,
Пролилось и чернил без счёта.
Подсудимой заткнули рот,
Дабы не было лишних споров –
Пусть молчит да с почтеньем ждёт
Веской формулы приговора.
Инквизитор взглянул в окно:
Полдень скоро, пожалуй, хватит.
Всё давно уже решено,
А за большее не заплатят.
Под окном, за стеной, толпа
Ждёт, волнуется, но не ропщет.
Вот вам правда:
Толпа глупа,
Ей бы зрелища, да попроще.
Наготове парад шутов –
Грязью вымажут слишком смелых.
Вкопан столб, и костёр готов.
И палач заскучал без дела...
Я проснулся. Все страхи – вон:
Мало ль дури в ночном кошмаре?
Это сон. Это просто сон!

Но откуда же запах гари?

ЧАБРЕЦОВЫЙ ЧАЙ

Живи сегодня. Завтра будет поздно,
Не то и жизнь упустишь невзначай.
Мы умно ждём, а верим несерьёзно.
Давай заварим чабрецовый чай?
Люблю послаще. В слабости покаюсь.
Но, чёрт возьми, привычка не порок –
Да, я порой чрезмерно увлекаюсь,
Хоть говорят, идёт оно не впрок.
Погорячей. Покрепче. Потемнее.
Пусть дразнит терпковатый аромат.
Под этот вкус и разговор вкуснее,
И мысли чище, и добрее взгляд.
Есть мелочи, но упускать их – то же,
Что ставить крест на списке важных дел –
Все вспомнятся, когда наступит «позже»,
То «позже», что зовется «не успел».
И там чего уж... На утратах точку
Слезой поставит жёлтая свеча –
Обидно, да? Но так и есть.
Короче,
Давай заварим чабрецовый чай.

НЕ БЫЛО, НЕТ И НЕ БУДЕТ

Я от вас усталых глаз не скрою,
Дух притворства мне теперь несносен.
Отрицать стремление к покою
Нет нужды перешагнувшим в осень.

Чувственность пожаром отпылала,
Возле губ запала сеть морщинок.
Милая, поверьте: страсти мало
В ласках постаревшего мужчины.

Ваше ли божественное тело
Оскорблять невосхищённым взглядом?
Отболело сердце, отболело,
А любви без боли мне не надо.

Вы сдались,
Но я, как победитель,
На трофеи налагаю вето,
И прошу вас:
Просто уходите.
Наш роман остался без сюжета.

Анна
МЕРУК

РАССКАЗЫ

ЗЕЛЁНОЕ ЯБЛОКО

Зимний морозный день. Усталое тусклое солнце нехотя выглядывает из-за вершины старой сопки, укрытой тяжёлой снеговой шубой. Кажется, что даже оно замёрзло и жаждет тепла и света в этот холодный день.

У подножия белой сопки стоит маленькая брезентовая палатка. Из трубы вьётся слабый дымок, будто напоминая: осталось ещё что-то живое в этом срединном мире.

В палатке старая женщина, маленькая и проворная, хлопочет у очага. Блики огня слабо освещают небольшое пространство вокруг: оленьи шкуры, тонкий светлый полог, охапка дров у печки.

На старушке видавшая виды меховая одежда с аккуратно залатанными рукавами, на голове тонкий ситцевый платок, на ногах – домашние торбаза из тёмного камуса*. Она ловко кидает в большой чайник куски чистейшего голубого льда. Растает лёд – будет вода для чая из брусничных листьев. На огне в железном котле, тускло блестящем чернотой, кипит нехитрая похлёбка. «Слишком мало супа из двух белок, добытых стариком, – думает женщина. – Эх, побольше была бы добыча... Хоть бы зайцы в петли попались!» Она тяжело вздыхает, качает головой в такт своим мыслям...

Старик давно, ещё на рассвете, ушёл на охоту, прихватив ружьишко, такое же древнее, как и он сам. Собирался поставить петли на куропаток и зайцев, чтобы на другой день пойти проверить их. Вдруг попадётся беляк, может, даже крупный, а лучше – два! Тогда в их стареньком жилище будет праздник! Тогда они досыта наедятся, напьются горячего бульона из зайчатины и будут счастливы... Хотя бы пару дней... До следующей удачной охоты.

* Камус – шкура с голени животных, принадлежащих семействам оленевых, лошадиных или ластоногих; используется для изготовления зимней обуви и противоскользящей подкладки на нижнюю поверхность охотничьих лыж.

• **Анна Мерук** родилась в 1968 г. на Чукотке в многодетной семье оленеводов. Окончила Ленинградский государственный педагогический институт им. А. И. Герцена по специальности «учитель русского языка, литературы и эвенского языка». Работает учителем в средней школе. Корреспондент районной газеты «Омсукчанские вести». Увлекается литературным творчеством. Живёт в посёлке Дукат Омсукчанского округа Магаданской области.

Старик даже мечтать не смел о более крупной добыче: диком олене или лосе. У него было ружьё, но не было к нему нужных патронов: закончились ещё по осени, до морозов. А оленей, как известно, на петли не ловят...

Деревянные самодельные лыжи, подбитые камусом, легко скользят по снегу. Уже много лет старик ходит на этих лыжах по тайге, знает каждую сопку, каждый распадок в этих местах. Узкие глаза цепко оглядывают заснеженные кусты и деревья, иней посеребрил усы и бородку, от тяжёлого дыхания поднимается пар. Но человек упорно идёт вперед.

Давно живёт старик на этом свете, он даже не знает точно, сколько ему лет. Когда колхозникам-оленеводам выдавали паспорта, возраст определяли приблизительный, год рождения записывали примерный.

Давно выросли дети, разъехались кто куда в поисках лучшей доли, и остался «старик со своею старухой у самого...». Нет, не у синего моря, а в маленькой палатке у белой сопки, в глухой бескрайней тайге...

Старик никогда не жаловался на судьбу. Не понимал – зачем жаловаться? И просто не умел этого делать. Надо работать каждый день. Не нужно лениться. Надо всё делать самому. Этим нехитрым правилам жизни учили его родители, это он внушал и своим детям.

«Дети, дети! Где же вы?» – с горечью думал старик, скользя на лыжах, опираясь на деревянные палки.

Не захотели дети жить в тайге, по старинке. Цивилизации им захотелось. Большие города манят. Лёгкая жизнь манит. Только раз написала младшая дочь, сказала, что влюбилась, что выходит замуж, что ждёт ребенка... Через год приехала сама и привезла крохотную девочку, свою дочку. Заявила: «Переезжаю в город, в институт поступать хочу, а ребёнка девать некуда. Нельзя его брать с собой». Уехала, оставила дочку своим родителям. Так и стала жить Маруся с дедом и бабушкой в тайге. Ребёнок – отрада на старости лет. Нет большего счастья для бедных стариков, чем звонкий детский смех! И нет сильнее любви, чем любовь к внукам!

А сейчас Маруся тяжело больна. Жар у неё, кашляет сильно, бредит. Нет больше лекарств у стариков. И связи по рации нет. Во все стороны – бескрайняя тайга...

Старик прислушался. Может, ему показалось? Как будто где-то вдалеке работает трактор... Точно, это трактор... Может, геологи или старатели? Обрадованный, он поспешил в направлении манящего звука.

«Геологи – это хорошо. У них есть рация. Они вызовут вертолёт. Марусю отвезут в больницу», – думал старик, прибавляя шагу...

На другой день к палатке подъехал вездеход. Большие бородатые люди привезли ящики с консервами, мешок муки, плиточный чай, кусковой сахар... А самое главное – патроны, керосин, парафиновые свечи и спички. Вот это богатство! Роскошный подарок для бедных стариков. Привезли и доктора.

Маленькая Маруся лежала в тёплом кукуле*, худая, бледная. Но её чёрные глазёнки светились радостью. В руках она держала большое зелёное яблоко – новогодний подарок от доктора. Чудесный аромат невиданного плода, сладкий, чуточку морозный, кружил голову, а маленькие ручонки всё сильнее и сильнее прижимали к худенькому тельцу это зелёное чудо.

* Кукуль – спальный мешок из шкуры животного.

ПЕСНЯ СТАРОГО ШАМАНА

Белое безмолвие раскинулось далеко-далеко во все стороны света. Ничего не слышно кругом: ни скрипа снега под ногами, ни звериного рыка, ни шороха крыльев пролетающей птицы. Кажется, жизнь замерла на долгие зимние месяцы. Только всепроникающий холодный ветер заметает снежную пыль, поднимая лёгкую позёмку. Начинается вьюга. Короткий полярный день подходит к концу. Быстро темнеет.

Большая, крытая оленьими шкурами яранга* стоит посреди бескрайней тундры. Из верхнего отверстия жилища вьётся лёгкий дымок.

Старик давно сидит у костра, молча, неподвижно, не слышно даже его дыхания. Языки пламени отражаются в чёрных зрачках, расширенных, бездонных, поэтому особенно страшных. Застывшая фигура его кажется высеченной из чёрного холодного камня.

За пределами яранги завывает снежная вьюга. Она то заливисто хохочет, швыряя ледяные комья на пологие стенки жилища, то тихонько, жалобно плачет, как маленький обиженный ребёнок, то яростно рвёт и треплет кожаные покрывала яранги, которые, кажется, вот-вот унесёт в белую мглу резкими порывами ветра. И тем оглушительней кажется тишина в старой яранге.

Человек у костра сидит так неподвижно и долго, что кажется, будто прошла целая вечность.

Вдруг раздается какой-то странный, ни на что не похожий звук. Словно кто-то горько завыл или застонал от нестерпимой боли... Тени на стене вдруг зашевелились. Неясные, странные фигуры то ли людей, то ли зверей, то ли гигантских птиц, то увеличиваясь, то уменьшаясь в размерах, стали наполнять пространство яранги.

Звук всё громче и громче, всё отчётливей и отчётливей, пока не становится ясно, что это звучит песня Шамана. Песня особого рода, не похожая ни на какую другую. Эта Песнь – обращение, Песнь – прошение, Песнь – молитва...

Тени, двигаясь всё быстрее и быстрее, заполняют большую ярангу. В ней становится очень темно, мрак проникает в каждый уголок пространства. Становится холодно, как на улице. Мрак и холод, тишина и – Песнь Шамана!

Низкий гортанный голос, то шепчущий, то молящий, то громко кричащий, то плачущий и наполненный горестью, то полный мольбы и ярости... Грохот магического бубна, разгоняющий кровь по жилам...

Тени всё быстрее и яростнее пляшут по стенам... Голос всё сильнее и громче поёт Песнь свою добрым духам...

Тени, сливаясь и дробясь на части, то с силою сталкиваются, то разбегаются во все стороны. То ползут, как гигантские пауки, едва передвигая конечности, то несутся стремительно, как ураганный ветер, безжалостно сметающий всё на своём пути...

Голос звучит с мольбой и отчаянием, слезами и болью, вдруг набирает силу и оживает, наполняясь надеждой. И тогда кажется, что тени становятся светлее, а воздух в яранге – чище и свежей.

Это битва за жизнь.

Чёрная фигура человека с бубном у потухшего костра в центре яранги...

* Яранга – переносное жилище с конической крышей у народов северо-восточной Сибири.

Сцепившиеся во тьме тени – это духи предков, явившихся по зову Шамана. Боль и ярость – оттого, что души людские бывают разные: добрые и злые, тёмные и светлые, полные добра или ненависти... На стенах яранги – битва теней, битва духов.

Злые, полные гнева и зависти, сражаются за право владения юной душой, душой умирающего отрока.

Добрые, полные любви и жалости, бьются за жизнь юной души, готовой отправиться в мир иной, к предкам.

Старый Шаман с бубном – посредник между миром живых и миром мёртвых.

Он в Песне своей молит добрых духов биться за жизнь умирающего юноши.

– Духи, о добрые духи! Духи моих предков! Помогите спасти юного потомка вашего рода! Он будет достойным памяти предков!

Битва духов продолжается...

– О духи, добрые духи! Вы не бросите душу этого юноши! У него доброе сердце! У него умелые руки! Он любит своих родителей! Он чтит наши традиции! Он будет славным сыном своего народа!

Битва духов продолжается...

– О духи, добрые духи! Оставьте опору старикам-родителям! Только один сын остался у них! Молю вас, добрые духи! Пусть проживёт этот юноша долгую жизнь! Он будет славным потомком древнего рода!

Всё тише и тише звуки бубна... Всё тише и тише слова Песни... Наконец в яранге наступает полная тишина. Стихает пурга.

Не слышно ни звука за пределами яранги.

Старый Шаман неподвижно сидит у потухшего костра.

Битва духов продолжается...

На улице раздаётся многоголосый лай. Верно, пришла чья-то собачья упряжка. Через некоторое время входная накидка распахивается, и в ярангу врывается морозный воздух. Пожилой мужчина в заснеженной меховой одежде медленно проходит в жилище, устало садится напротив старика. Маленькая женщина с растерянным взглядом, тоже вся в снегу, молча располагается рядом с ним. Это родители умирающего юноши.

Бледный худой подросток неподвижно лежит у тёмной стены, укрытый тёплыми оленьими шкурами. Взгляд матери полон смутной надежды. Отец сурово молчит. Старый Шаман неподвижен.

Битва духов продолжается...

Женщина умело разжигает костёр. Треск дров разгоняет тишину. Яранга наполняется теплом и светом. Старый Шаман неподвижен. Мужчина садится рядом с ним. Все молчат. Только трещит костёр.

Битва духов продолжается...

Старый Шаман тяжело поднимается и выходит из яранги во мглу.

Чёрные быстрые тени наваливаются на старика, роняют его на снег и начинают душить. Шаман, задыхаясь, хватается за горло, натужно кашляет, пытается встать, но не может... Слишком много сил потерял он в борьбе со злыми духами.

Спустя некоторое время из яранги выходит мужчина. Увидев старика, наклоняется к нему, слушает есть ли дыхание.

Нет. Старый Шаман мёртв.

Внутри яранги юноша открывает глаза.

Мария
ПОХИАЛАЙНЕН

ТЕНЬ ЛЕТЯЩЕЙ ПТИЦЫ НА ВЕЧНОЗЕЛЁНЫХ ДУБАХ

Рассказ

Как ни странно, но по Японии можно путешествовать и со скверным знанием языка. Японцы умны и каким-то образом догадываются, о чём их спрашивают. Кроме того, они отзывчивы и, если видят, что собеседник не понял объяснений, допустим, как пройти к музею, отводят растерявшегося иностранца туда, куда тому нужно, нередко меняя свой маршрут.

Вести долгую беседу, конечно, сложнее. Порою кажется, что ты не столько понимаешь, сколько разгадываешь. А иногда мелькает мысль, что понимание – только иллюзия.

Чаще всего японцы, прежде чем ответить, повторяют заданный им вопрос, как бы убеждаясь, правильно ли уловили смысл. Поэтому, восстанавливая диалог, можно ограничиться словами собеседника. Возможно, я что-то не запомнила или не так поняла... Наверное, как эпиграф к этой истории вполне подойдут слова моей знакомой Кумико-сан: «Если что и напутаю, не обессудьте».

– Нет, я живу не в Токио. Приехала сюда из Касихары в гости к младшей сестре. Никогда не слышали о городе Касихара? Мне там нравится. Большой ли он? Смотря с чем сравнивать. Население? Тысяч сто двадцать приблизительно. Где находится? От Киото к югу всего час езды на поезде. Токио мне кажется слишком шумным, в Касихаре спокойнее. О, Вы слышали поговорку: «Где живёшь, там и столица»? Кстати, когда-то в Касихаре, юго-восточней горы Унэби, первый государь Дзимму построил дворец, откуда и правил до конца своих дней. Дворцы и захоронения его детей и внуков*

* Дзимму – легендарный первый император. Считается, что он взошёл на престол в 660 г. до н.э.

• **Мария Похиалайнен** – поэт, переводчик. Родилась в г. Сочи. Детство и юность прошли в геологическом посёлке на севере Камчатки и в Магадане. После окончания ДВГУ преподавала математику в школах Владивостока и подмосковного наукограда Троицка. Автор двух поэтических сборников, переводов стихов японской поэтессы Юми Каэдэ «Поведал странник». Член Союза писателей России и Союза переводчиков России.

были неподалёку – на равнине, где растут вечнозелёные дубы-каси. Потом дворцы императоров переезжали с места на место – от Осакского залива до озера Бива. И только в последнем десятилетии седьмого века, на излёте периода Асука, там, где сейчас Касихара, появилась первая постоянная столица – Фудзивара-кё. Перенесла её туда императрица Дзито.*

О, хотите подробнее узнать о Фудзивара-кё? Не так уж много я, медицинская сестра, могу рассказать – что-то читала, что-то слышала, да и это наполовину забылось. Вот мой старший брат любит поговорить о старине за кувшинчиком сакэ. Я попробую, но, если что-то напутаю, не обессудьте.

Когда Дзито переехала в новый дворец в Фудзивара-кё, ей было уже под пятьдесят. Она, дочь императора Тэндзи** и вдова императора Тэмму***, слыла сдержанной, вежливой и великодушной.

На самом деле всё начинается прежде, чем начинается, – неизбежно приходится обращаться к тому, что случилось раньше.

Когда-то её супруг отказался от предложения своего брата Тэндзи стать наследным принцем, сказав, что собирается быть монахом, и отправился в Ёсино. И только одна из его жён, будущая императрица Дзито, с десятилетним сыном и немногочисленной челядью поехала вслед за ним. Ходили слухи, что император Тэндзи и не собирался отдавать престол брату, хотя и выдал за него замуж четырёх дочерей. Наследником он видел сына, принца Отомо, которого перед смертью и назвал своим преемником.

Вскоре началась Смута Дзинсин – против принца Отомо выступили сторонники будущего императора Тэмму. Потерпев поражение, наследный принц Отомо покончил с собой. Об этой смуте написаны целые тома, да и об отношениях Тэндзи и Тэмму можно рассказать немало интересного, но тогда мы никогда не доберёмся до Фудзивара-кё.

Начнём с того момента, когда Тэмму стал императором. Через некоторое время императрицей-супругой была объявлена Дзито, что неудивительно. Она не только находилась рядом с мужем во время невзгод и Смуты Дзинсин, но и участвовала в обсуждении планов противостояния, вела переговоры с возможными союзниками, обращалась к войскам. Во всяком случае, так утверждают хроники. Там же говорится, что и потом император Тэмму не пренебрегал советами Дзито, считая их весьма полезными.

Тэмму имел крутой нрав. Уверенный, что только император должен держать в руках всю власть – и центральную, и местную, он отстранил знатные роды от государственной политики, и высокие должности стали занимать только члены императорской семьи. Всю власть Тэмму действительно держал в своих руках, тем более что местные правители были лишены права собственности на землю. При этом чиновникам объявили указ о том, что если кто знает, как принести выгоду государству и сделать народ богатым, пусть придёт ко Двору и расскажет – разумные предложения внесут в законодательство.

* Асука (538–710) – период в истории Японии.

** Тэндзи (626–672) – 38-й император Японии.

*** Тэмму (?–686) – 40-й император Японии.

Признаюсь, новая система рангов, введенная Тэмму, налоговое обложение и международная политика совсем в стороне от моих интересов. А вот то, что именно тогда за страной закрепилось название Нихон, кажется любопытным, как и появление императорского титула тэнно – «небесный правитель». Тэмму же ввёл запрет на употребление мясной пищи – не такой уж строгий, поскольку он действовал только с апреля по сентябрь, при этом оленину и кабанятину есть не возбранялось. Была возведена первая башня для гадания по звёздам. И идея постоянной столицы, построенной по китайскому образцу, тоже принадлежала императору Тэмму. В живописной местности, окружённой тремя горами – Унэби, Миминаси и Амэнокагу, даже начались предварительные работы: выравнивали землю, рыли канавы вдоль будущих дорог... Но осуществить строительство тогда не смогли – не хватало средств.

Всё, что было начато и задумано Тэмму, потом продолжила Дзито. Её отдали замуж совсем юной, а сколько было на тот момент супругу, никто не знает – год его рождения не записан ни в одной из хроник. Это, конечно, многим кажется странным и неслучайным, тем более что написанием «Нихон сёки»* руководил один из сыновей императора.

Когда Тэмму покинул этот мир, Дзито было чуть за сорок, и то, что она займёт трон, не казалось очевидным.

Здесь снова придётся обращаться к прошлому. Через семь лет после Смуты Дзинсин Тэмму, видимо, помня, как он сам завладел троном племянника, собрал в Ёсино четверых своих сыновей и двоих сыновей Тэндзи.

Он и Дзито пообещали относиться ко всем, как к родным детям, не делая никакого различия. Взамен те поклялись избегать ссор и помогать друг другу. По установленной тогда же последовательности восхождения на престол первым стал принц Кусакабэ, сын Тэмму и Дзито. Вторым – принц Оцу, сын Тэмму и старшей сестры Дзито, которая умерла до того, как Тэмму стал императором (принцу тогда было лет пять). Согласно хроникам, Оцу был умным, образованным, красивым, умело обращался с мечом. Отец возлагал на него большие надежды. Следующим мог претендовать на трон первенец Тэмму – принц Такэти, мать которого не принадлежала к императорскому роду. Такэти участвовал в военных действиях во время Смуты Дзинсин, помогая отцу одержать победу.

И хотя по этому договору после смерти Тэмму на трон должен был взойти принц Кусакабэ, до окончания погребальных обрядов, а они длились долго, иногда не один год, никого императором не провозглашали. И, как говорилось в те времена, Дзито приняла управление Двором, то есть фактически стала правительницей, не вступив на престол официально.

Вскоре по подозрению в мятеже взяли под стражу двадцатичетырёхлетнего принца Оцу, любимца императора Тэмму. Было ли обвинение справедливым или нет, не скажу, не знаю. Приговорённый к смерти, он то ли покончил с собой, то ли всё-таки был казнён. С остальными участниками заговора поступили на удивление мягко: одних отправили в ссылку, других даже простили.

Но принц Кусакабэ так и не стал императором: заболев, он умер, и в 690 году Дзито уже официально взошла на трон. Принца Такэти она назначила на очень

* «Нихон сёки» (720) – древний письменный памятник, своеобразная древнеяпонская «летопись», где, помимо прочего, содержатся хронологические записи правления императоров до конца VII века.

высокий пост. Помимо прочих важных дел, он занимался и строительством новой столицы.

Таких городов раньше не было. Построенная по китайским образцам, ориентированная по сторонам света столица занимала площадь около двадцати пяти квадратных километров. Так же, как впоследствии Нагаока, Нара и Киото*, город пересекался прямыми улицами, идущими с севера на юг и с востока на запад. Ширина главной из них – Судзаку – достигала двадцати четырёх метров. Это меньше, чем в более поздних столицах, но всё же.... Дворцовый комплекс площадью около одного квадратного километра располагался почти в центре города, а не на севере, как было принято потом. Он был окружён рвом, заполненным водой, и огорожен пятиметровой стеной. В ней было двенадцать ворот, по три с каждой стороны света. В Фудзивара-кё впервые появились черепичные крыши. В городе проживало не менее тридцати тысяч человек. Императрица Дзито переехала в новый дворец в 694 году.

Вскоре умер принц Такэти, и, кажется, даже своей смертью. Похоже, он не претендовал на трон. А в это время подрастали внуки императрицы: принц Кару и принцессы Хидака и Киби – дети принца Кусакабэ. Их мать, принцесса Абэ, так же, как и Дзито, была дочерью императора Тэндзи. Близкородственные браки тогда считались вполне допустимыми – до опытов Грегора Менделя оставалось больше тысячелетия. Детям от одного отца и разных матерей жениться не возбранялось. Но вот строгий запрет на браки детей одной матери даже от разных отцов существовал издавна.

В новой столице прошла и церемония открытия глаз статуи Будды в храме Якуси. Его возведение задумал ещё император Тэмму, когда Дзито серьёзно заболела. Тогда сто человек приняли монашество, чтобы молиться за выздоровление императрицы. Она исцелилась и вот уже десять лет держала власть в своих руках, продолжая начинания мужа.

Насколько помнится, никогда прежде престол не передавался внуку от бабушки, если не считать того, что в незапамятные времена богиня Аматэрасу возложила управление Восемью островами на своего внука, бога Ниниги. И вот Дзито в 697 году передала престол своему внуку, пятнадцатилетнему принцу Кару, ставшему императором Момму. Сама же Дзито с этого времени именовалась дайдзё-тэнно – императрицей на покое, со всеми полагающимися императорскими почестями, продолжая управлять государством до самой своей смерти в 703 году.

В 701 году ко двору в Фудзивара-кё привезли золото, будто бы найденное на острове Цусима. В честь такого события ввели девиз первого периода правления императора Момму: Тайхо – «Великое сокровище». Хотя потом оказалось, что золото не цусимское, а материковое, но девиз менять не стали. В это же время по распоряжению Дзито разработали свод законов, получивший название Тайхорицурё – «Свод уголовных и гражданских законов периода Тайхо». Составлял этот свод сановник Фудзивара-но Фухито**. Его дочь была женой императора Момму.

* Нагаока, Нара и Киото – постоянные столицы Японии, где императорские дворцы располагались на севере города.

** Фудзивара-но Фухито (659–720) – государственный деятель, чьи сыновья основали четыре основные ветви могущественного рода Фудзивара.

И вот в один и тот же год у Фухито родился внук – будущий император Сёму, а от одной из жён – дочь, ставшая впоследствии женой императора Сёму. В более поздние времена супругами и матерями императоров очень часто будут женщины рода Фудзивара, чем укрепят его могущество.

Дзито, радуясь появлению наследника престола, продолжала заниматься государственными делами. Она нередко посещала ближние и дальние провинции, особенно часто бывая во дворце Ёсино, где когда-то их с мужем, императором Тэмму, связывали общие невзгоды и общие цели.

Среди распоряжений времён правления Дзито были указание местным властям предоставлять работникам по четыре выходных дня в месяц и разрешение «диким племенам» эмиси принимать монашество, что уравнивало их с остальными жителями государства. А сколько амнистий объявила императрица, трудно сосчитать. К тому же времени относят перепись населения и введение воинской повинности, которую должен был отбывать каждый четвёртый мужчина в крестьянской семье. На фоне этого повеление выращивать больше тутовых деревьев, конопли, груш, каштанов и репы кажется не таким значимым, но это только кажется. А ещё Дзито ввела запрет на игру сугороку*.

Продолжалось и составление исторических хроник. Они будут завершены уже в эпоху Нара, после смерти Дзито. В её завещании говорилось: «Траурных одежд не надевать, плачей не устраивать. Всем чиновникам – столичным и провинциальным, гражданским и военным – выходить на службу как обычно. Похороны провести скромно».

Из правителей Дзито была первой, кого кремировали. Серебряную урну с прахом захоронили в усыпальнице её супруга, императора Тэмму.

Император Момму скончался в 707 году, когда его сын был ещё ребёнком. Жена Момму, дочь того самого Фудзивара-но Фухито, пережила мужа на много лет. Но из-за серьёзной болезни (видимо, послеродовой депрессии) её общение с сыном было ограничено. Говорят, что через тридцать шесть лет она всё-таки излечилась и тогда впервые встретилась с сыном, к тому времени уже ставшим императором Сёму. А пока его бабушке, матери умершего императора Момму, принцессе Абэ, пришлось взойти на престол, став императрицей Гэммэй. Наследования трона матерью после сына ещё не случалось. Императрица Гэммэй недолго правила из Фудзивара-кё, через три года она перенесла столицу в Нару и уже там передала власть своей незамужней дочери, старшей сестре императора Момму, ставшей императрицей Гэнсё. И это тоже единственный случай в истории Японии, когда престол перешёл от одной женщины к другой.

Переезд императорского двора в Нару завершил и шестнадцатилетнюю историю самой первой столицы, и эпоху Асука. Дворцовые здания и несколько храмов из Фудзивара-кё, в том числе и Якусидзи, построенный по обету Тэмму ради выздоровления Дзито, вскоре перенесли в Нару. А ещё через год в старой столице вспыхнул пожар, и она пришла в запустение...

– Нет, нет, не навсегда… В четырнадцатом столетии здесь появилось прихрамовое поселение Имаи. Постепенно оно росло, со временем став центром ремесла и торговли. А в семнадцатом веке укреплённый городок, окружённый рвами и земля-

* Сугороку – разновидность нард.

ным валом, не смог сходу взять сам грозный Ода Нобунага. Он даже даровал Имаи местное самоуправление. Мало какие города имели такую привилегию. Чуть позже с разрешения правительства сёгуната в Имаи даже стали выпускать собственные бумажные деньги.

Кварталы Имаи в центре Касихары до сих пор хранят облик эпохи Эдо. Множество туристов приезжают посмотреть и их, и усыпальницы шести императоров, музеи, храмы, святилища и руины дворца Фудзивара-кё, обнаруженные в прошлом веке… Но раскопки вести непросто из-за поздней застройки. В префектуре Нара Касихара – второй по величине город, он разрастается, меняет облик… Но три священные горы, вечнозелёные дубы-каси и небо над ними такие же, какими были в незапамятные времена при первом императоре Дзимму и при сорок первой императрице Дзито в период Асука…

Кстати, Асука пишется иероглифами «лететь» и «птица».

ДИАЛОГИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РАННИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ХОРИ ТАЦУО

К переводу новеллы Акутагавы Рюноскэ «Окно» и новелл Хори Тацуо «Окно» и «Святое семейство»

Японский прозаик, поэт и переводчик Хори Тацуо*, известный у себя на родине и за её пределами, русскоязычному читателю знаком мало. До недавнего времени его имя упоминалось на русском языке преимущественно в специальных литературоведческих исследованиях и опубликованных переводах писем одного из его наставников, всемирно известного писателя Акутагавы Рюноскэ. Хори Тацуо не причисляют к ярчайшим звёздам на литературном небосклоне Японии, однако не зря он был удостоен гордого именования «знаменосца модернизма»**, ибо его оригинальное творчество, несомненно, в полной мере отражало дух времени.

Первые десятилетия XX века стали для японской интеллигенции периодом осмысления достижений и ошибок ускоренной модернизации эпохи Мэйдзи (1868–1912) и определения своей позиции в отношении традиционных японских и западных культурных ценностей. Повлияло на формирование общественных настроений и Великое землетрясение Канто 1923 года: высказывается мнение, что эта природная катастрофа оказала на развитие японской культуры столь же мощное воздействие, как и Первая мировая война на культуру европейскую***. Одним из последствий отмеченных процессов и событий стал отказ от прежних идеалов, вместе с которыми кануло в прошлое и поклонение былым авторитетам – в том числе в мире литературы. За относительно короткий период в стране оформился ряд новых литературных направлений. Активно переводились и издавались иностранные художественные произведения, а также труды по философии, социологии, психологии, представлявшиеся японским интеллектуалам сокровищницей чужеземного опыта****.

---

* Здесь и далее сохранён принятый в Японии порядок написания имён собственных: сначала – фамилия, затем – имя.

** *Нисимура Ясунори*. Хори Тацуо-но хонъяку-то сосаку: Дзян Кокуто-то-но канкэй-о тюсинни (Переводческие и литературные труды Хори Тацуо и их связь с творчеством Жана Кокто) // Тиба Дайгаку Дзинбун Кэнкю. Вып. 33. Тиба: Тиба Дайгаку Бунгакубу, 2004. С. 332.

*** Там же. С. 331.

**** *Чегодарь Н. И.* Литературная жизнь Японии между двумя мировыми войнами / Н. И. Чегодарь; Институт востоковедения. Москва: Восточная литература, 2004. С. 3–9.

Хори Тацуо был человеком своей эпохи, и сегодня его ранние произведения, отразившие нарастающее тяготение автора к принципам модернизма, представляются коллажами из идей и образов, обнаруживающих параллели как в классических японских текстах, так и в европейском искусстве конца XIX – начала XX века. Творения его не всегда просты для понимания: их прочтение превращается в увлекательный процесс дешифровки тайных посланий, хотя иногда они так глубоко погружены в контекст – не только историко-культурный, но и предельно узкий, ограниченный событиями жизни автора, – что задача обретает особенную сложность.

С одной стороны, стремление писателя опираться в своём творчестве преимущественно на личный опыт не было чем-то исключительным: в этот период в Японии утверждается «ватакуси сёсэцу» – жанр повествовательной прозы, героем которой выступает сам автор. Японская эго-беллетристика часто рассматривается в связи с литературой модерна, но представляет собой самостоятельное явление: её специфическую природу отражает, в частности, унаследованная от натурализма установка на ограничение повествования предметами, досконально известными автору (а таковым предметом мог служить лишь он сам), и, как следствие, отказ от художественного вымысла*.

С другой стороны, у Хори Тацуо имелись особые причины возвращаться в художественной прозе к событиям своей жизни, а также жизни своего прославленного наставника.

Обратимся к двум его ранним новеллам – «Окно» и «Святое семейство». Обе увидели свет почти одновременно: новелла «Окно» впервые была опубликована в октябре 1930 года в журнале «Бунгаку Дзидай», «Святое семейство» – в ноябре того же года в журнале «Кайдзо». Они любопытны своим сходством: в них фигурируют похожие персонажи, звучат одинаковые мотивы. В некотором смысле их можно рассматривать как вариации на одну тему. Однако знак равенства между ними ставить нельзя, что при упомянутом сходстве также примечательно.

* * *

Прозу Хори Тацуо называют «литературой жизни, смерти и любви». Считается, что внимание к этим темам во многом объясняется фактами его биографии. В 1923 году во время землетрясения в Токио погибла мать юноши. Позже у него развился плеврит: болезнь протекала тяжело, и в какой-то момент он уверился, что дни его сочтены. А в 1927 году добровольно ушёл из жизни Акутагава Рюноскэ. Обстоятельства смерти Акутагавы заставили Хори воспринять новую потерю не только как личную трагедию, но и как подтверждение несостоятельности своих писательских убеждений, ведь в мир литературы он пришёл по стопам наставника. Получалось, что выбранный путь должен был закономерно привести его к аналогичному результату – философскому тупику, духовному опустошению и физической гибели.

В 1929 году по завершении обучения на отделении японской литературы филологического факультета в Императорском Токийском университете Хори Тацуо представил выпускную работу, посвящённую Акутагаве Рюноскэ: он попытался разобраться, какие воззрения и черты характера наставника послужили причиной трагедии**. А затем принял решение во всём придерживаться строго противоположной позиции. В противовес «беспорядочности» Акутагавы, его попыткам совместить в себе и своих творениях несовместимое Хори Тацуо решил следовать чётко определённым художественным принципам. Своей целью он поставил создание крупного произведения –

* *Чегодарь Н. И.* Литературная жизнь Японии... С. 68–83.

** *Мурата Нахоми.* Хори Тацуо-но сэй-то си-но исики ни цуитэ (Жизнь и смерть в восприятии Хори Тацуо) // Кокубун Кэнкю. Вып 15. Кумамото: Кумамото Дзёсидайгаку Кокубун Данвакай, 1969. С. 26.

основанного на художественном вымысле психологического романа*. На реализацию замысла у Хори Тацуо ушли годы (свой первый и единственный роман «Наоко» он опубликовал лишь в 1941 г.), но уже в ранних новеллах видны попытки достичь поставленной цели. И если «Окно» ещё напоминает зарисовку в жанре эго-беллетристики, то «Святое семейство» – это первый удавшийся Хори «роман в миниатюре».

Поиски нового пути не заслонили от Хори Тацуо мысль об ученическом долге. В эссе «Об искусстве ради искусства» (1930) он написал, ссылаясь на фразу из поздней новеллы Акутагавы Рюноскэ «Жизнь идиота» (1927): «Настоящий ученик не подражает работам учителя, а начинает путь из той точки, в которой учитель завершил свои труды. Акутагава был моим лучшим наставником. И теперь передо мною слова, сказанные им в самом конце: "Превыше всего – строка Бодлера!" От конечной черты, намеченной этими словами, должна начинаться моя работа». И Хори начал ровно с того места, на котором его покинул учитель: последние строки текстов одного писателя переплетаются с первыми строками текстов другого, факты завершившейся жизни учителя служат событийной канвой для жизни ученика. Вероятно, поэтому в ранних произведениях Хори Тацуо прообраз персонажей определённого типа настолько узнаваем: в новеллах «Окно» и «Святое семейство» в образе господина А и Куки также изображён Акутагава Рюноскэ. Более того, вопреки стремлению Хори отойти от канонов «ватакуси сёсэцу», в представленных новеллах даже у женских персонажей имеются прототипы, а связи между персонажами по-прежнему остаются отголосками взаимоотношений реальных лиц**. Хотя, разыгрывая раз за разом, словно шахматный этюд, последние годы жизни и смерть учителя, Хори Тацуо чаще опирался всё-таки не на факты биографии, а на тексты Акутагавы Рюноскэ: он постоянно цитирует Акутагаву, подхватывает и продолжает его фразы, вводит в повествование аналогичные образы***.

* Ссылаясь на запись в личном дневнике Хори Тацуо от 30 августа 1929 г. («Я должен написать "роман"»), исследовательница Кубо Эми поясняет: «Под романом здесь следует понимать масштабное произведение крупной формы с тщательно выстроенным сюжетом». Она указывает на восторженные высказывания Хори Тацуо о произведениях Реймона Радиге (прежде всего, о романе «Бал у графа д'Оржель»), на которые мог ориентироваться Хори. (*Кубо Эми*. Хори Тацуо-но бунгакукан: соно какурицу-мадэ-о тадору (Литературные взгляды Хори Тацуо: процесс формирования) // Кокубун Кэнкю. Вып 38. Кумамото: Кумамото Дзёси-дайгаку Кокубун Данвакай, 1993. С. 108).

** «Окно» и «Святое семейство» сюжетно обыгрывают поздний платонический роман Акутагавы Рюноскэ и Катаямы Хироко – вдовы крупного банковского служащего, поэтессы и переводчицы, публиковавшей свои работы под псевдонимом Мацумура Минэко. Прототипом героини, представленной в новелле «Святое семейство» под именем Кинуко, называют дочь Катаямы Хироко, Фусако.

Известно, что в первом варианте текста новеллы «Окно» учитель главного героя (списанный с Акутагавы Рюноскэ) и хозяйка дачного домика (списанная с Мацумуры Минэко) именовались просто «господин А» и «госпожа М», и лишь позже, при переиздании новеллы, «госпожу М» сменило чуть менее прямолинейное именование «госпожа О». (*Миясака Кэнъити*. Сёки Хори Тацуо сакухин-ни окэру «Си»-но доню: Кокуто дзюё-ни миру сакухин-оёби сака-но хэнъё (Появление темы смерти в ранних произведениях Хори Тацуо: отразившаяся в текстах трансформация авторских взглядов в связи с восприятием идей Кокто) // Кокубунгаку Кэнкю. Вып. 168. Токио: Васэда Дайгаку Кокубунгаккай, 2012. С. 19, 22.)

*** Новелла «Святое семейство» содержит особенно много аллюзий на позднее творчество Акутагавы Рюноскэ. Так, например, появляющийся в истории сборник писем Проспера Мериме оказывается деталью вовсе не случайной, если читатель вспоминает о том, что уже встречался с этой книгой в новелле «Зубчатые колеса» (1927). И вселяющий в Коно Хэнри тревогу прибрежный городок напоминает сразу несколько мест, описанных в той же новелле. Возникает чувство, будто Хори ведет своего героя улицами, по которым ранее проходил герой «Зубчатых колес», что побуждает проводить между персонажами (и текстами в целом) более широкую параллель.

Впрочем, Хори Тацуо, вероятно, не был бы самим собой, если бы ограничился в текстовых играх одним источником. Тем более что на литературное поприще он вступил не только как прозаик и поэт, но и как переводчик. Его переводы и критические статьи открывали японским читателям произведения Гийома Аполлинера, Жана Кокто, Реймона Радиге, Марселя Пруста, Андре Жида, Франсуа Мориака, Райнера Марии Рильке. Подчиняясь веяниям времени, он искал в западной художественной традиции основания для идейного обновления японской литературы, но в исканиях своих зашёл дальше большинства современников. Принято считать, что новеллы «Окно» и «Святое семейство» содержат примеры авторского переосмысления идей и образов, почерпнутых у Жана Кокто, чьё влияние просматривается в ранних произведениях Хори Тацуо особенно отчетливо*. Например, мы находим у Жана Кокто в эссе «Профессиональный секрет»** (1922) такие строки: «[Поэзия]... срывает покров, в полном значении этого слова. В свете, заставляющем встряхнуться от оцепенения, она являет нагими поразительные вещи, которые нас окружают и которые наши органы чувств воспринимают чисто машинально. Бесполезно искать где-то в дальнем далеке необыкновенные предметы и ощущения, чтобы поразить того, кто спит, бодрствуя... Нужно показать ему то, по чему его взгляд, его сердце безразлично скользит каждый день, под таким углом, с такой стремительностью, чтобы ему показалось, будто он это видит впервые, чтобы это взволновало его. Вот единственный способ творения, дозволенный твари сотворенной». И далее: «Поэзия в своем “сыром” состоянии понуждает к жизни того, кто испытывает от неё некую тошноту. Эта моральная тошнота происходит от смерти. Смерть – оборотная сторона жизни. Мы не можем увидеть её, но ощущение, что она и есть основа нашей ткани, никогда не отпускает нас». Первый отрывок даёт нам ключ к пониманию новеллы «Окно», второй указывает на то, по какой формуле выстроена новелла «Святое семейство».

Приведённая в эссе Жана Кокто характеристика творческого акта переносится в новеллу «Окно» практически без изменений: Хори Тацуо прибегает к тем же образам – сон и пробуждение чувств; обнаружение особого «ракурса взгляда»; постижение через искусство глубинной природы вещей. Совпадение столь полное, что, казалось бы, не предполагает альтернативных толкований новеллы, но фактическая подоплека идейных исканий Хори заставляет вновь обратиться к творчеству Акутагавы Рюноскэ. В 1919 году на страницах газеты «Токио Нитинити Симбун» была впервые напечатана небольшая новелла Акутагавы, носившая то же название – «Окно». Эта миниатюра, которую не включают обычно в русскоязычные собрания сочинений мэтра, может, на наш взгляд, послужить исходным звеном цепочки рассматриваемых текстов.

В новелле Акутагавы изображён творец, пребывающий – по определению Кокто и Хори – на границе между жизнью и смертью, в плену мыслей и чувств. Он отъединён от окружающего мира, а высокое искусство дарит ему не исцеление, но новые мучения. Можно заметить, что одноимённая новелла Хори Тацуо служит своего рода ответной репликой на высказывание наставника и включает перетасованные образы, подсказанные Кокто, прежде всего, как части этого ответа.

* Нисимура Ясунори приводит любопытные примеры использования в ранней прозе Хори Тацуо идей и художественных деталей, почерпнутых у Жана Кокто (*Нисимура Ясунори*. Указ. соч. С. 337–339), и среди прочего предлагает сопоставить внутренний монолог Кинуко из новеллы «Святое семейство» и Генриетты, героини романа Кокто «Самозванец Тома» (1923): «Генриетта не спала всю ночь, она без конца повторяла себе: “Он меня любит, но он думает, что я его не люблю, не знает, как к этому отнесётся мама, и мучается от этого”. Она самостоятельно училась азам любви»; «Это скромность заставляет его держаться на расстоянии. Он боится прослыть соблазнителем, боится, что мама его прогонит. Я одна в этом виновата. Моё безразличие заставляет его так поступать» (*пер. Л. Дмитренко*).

** Здесь и далее фрагменты текста эссе Ж. Кокто «Профессиональный секрет» приводятся в переводе Л. Цывьяна.

«Окно» Хори Тацуо представляет собой аллегорическое описание творческого процесса. В комментарии к собранию избранных произведений Хори исследователь Икэути Тэруо отмечает, что путешествие погружённого в полудрёму героя к обманчиво близкой, но трудно достижимой цели само по себе символизирует устремление творца к истинной природе вещей*. Принципиально, что в версии Хори Тацуо путь этот преодолим, что двери отворяются, что творчество открывает суть явлений, приравненную к смерти, но силой, открывающей её, оказывается не одно лишь искусство, но также любовь. И если жизнь и смерть автор вслед за Кокто рассматривает как противоположности, сходящиеся в некой заветной точке, то третью силу, любовь, он не включает в это противопоставление – она остаётся вездесущей и общепримиряющей. У Акутагавы взгляд, брошенный из окна, не встречает живого взгляда, ему отвечает лишь переменчивая «легковесная химера», увеличивающая пропасть между творцом и реальностью. У Хори даже слепой, невидящий взгляд, обращённый на картину, находит отклик. Символическим выражением снятия противоречия между чистым искусством и жизнью видится момент, когда картина, вокруг которой разворачиваются события новеллы, становится в восприятии героя настоящим окном, сквозь которое в тёмную каморку льётся свет. Так рушатся стены темницы, в которую был заточён герой произведения Акутагавы.

Эти идеи получают развитие в новелле «Святое семейство»: новое понимание роли искусства в жизни меняет понимание самой жизни. Противопоставление и объединение двух полюсов – жизни и смерти – определяет развитие сюжета новеллы и в то же время порождает каскад взаимно противоположных элементов: действующих лиц, ситуаций, слов. Если одна сторона объявляется лицевой, к ней обязательно подбирается изнанка. Законы этого мира могут показаться по-кэрроловски фантасмагоричными, но Хори Тацуо, судя по всему, просто следует принятому решению – создает психологический «роман». Правда, сжатый до размеров рассказа и прописанный не столько «вширь», сколько «вглубь»: чувствуется, что автору не так важно поведать историю, как разглядеть за ней упомянутую изнанку.

Отмечается символичность и особое значение в тексте новеллы «Святое семейство» самой первой строки: «Смерть как будто ознаменовала наступление нового времени года». Можно сказать, что слова эти определяют смысл и тональность всего, о чём говорится далее: смерть, которая сама по себе означает завершение, становится здесь началом. В таком прочтении эту фразу можно рассматривать одновременно как точку отсчёта для нового этапа в жизни и творчестве Хори Тацуо, максимально лаконичное выражение итога философских исканий писателя и его ответ себе и наставнику.

Екатерина Юдина

---

* *Икэда Тэруо*. Кайсэцу: найбу-э, сосьтэ найбу-кара (Комментарии: Внутрь, а затем изнутри) // Хори Тацуо. Кадзэ татину. Токио: Сюэйся, 2013. С. 216–218.

• **Екатерина Юдина** – историк, переводчик с японского и английского языков. Окончила исторический факультет УрГУ (ныне УрФУ). Финалист и победитель Международного молодёжного конкурса перевода «Littera Scripta» в 2018–2020 гг., лауреат III Открытого конкурса художественного перевода (Магадан, 2019). Произведения в её переводах публиковались в журналах «Иностранная литература», «Новая Юность», на литературном портале «Горький».

АКУТАГАВА РЮНОСКЭ (1892–1927)

ОКНО

Новелла

*Господину Саваки Кодзуэ**

Окно на втором этаже моего дома смотрит прямо в окно второго этажа дома напротив.

В окне напротив чинно выстроились в ряд цветочные горшки с лилиями и розами. Но тяжёлые жёлтые шторы за цветами почти всегда опущены, и мне ещё ни разу не удалось разглядеть в глубине комнаты фигуру хозяина.

В моём доме на втором этаже возле окна стоит старое потёртое кресло. Каждый день я сажусь в него и рассеянно прислушиваюсь к доносящемуся с улицы гомону шагающих взад и вперед людей.

Ведь когда-нибудь и ко мне может кто-то прийти. В прихожей у меня, как и полагается, есть электрический звонок. И едва только по дому разнесётся его веселый громкий голос, я тут же поднимусь с кресла и, распахнув объятия, поспешу к дверям, чтобы приветствовать желанного гостя, приехавшего издалека.

Иногда, рассеянно прислушиваясь к гомону улицы, по которой взад и вперёд шагают люди, я рисую в мечтах картину радостной встречи. Но сколько бы ни ждал, никто не приходит ко мне с визитом. И компанию мне неизменно составляет лишь собственное отражение в зеркале.

...Так продолжалось долго, очень долго.

Но вот наконец в один из вечеров я взглянул в окно напротив и неожиданно увидел, что там, откинув жёлтую штору, стоит похожая на блудницу женщина. Судя по внешности, кажется, смешанных кровей. В шёлковом кимоно, щёки нарумянены, глаза подведены чёрным, в ушах – серьги, свисающие тонкими золотыми кольцами. Она посмотрела мне в лицо – при этом взгляд её был полон кокетства, – а затем учтиво склонила голову в знак приветствия.

Я столько лет ни с кем не виделся. Компанию мне неизменно составляло лишь собственное отражение в зеркале.

---

* Саваки Кодзуэ (настоящее имя – Саваки Ёмокити; 1886–1930) – историк искусств, с 1916 по 1925 г. – главный редактор литературного журнала «Мита Бунгаку».

• **Акутагава Рюноскэ** – писатель, признанный классик японской и мировой литературы начала XX века. Особенно известен произведениями в жанре малой прозы. Учреждённая в 1935 г. литературная премия имени Акутагавы (присуждается начинающим авторам за произведение «чистой», внежанровой литературы) в настоящее время считается одной из самых престижных в Японии.

Поэтому, когда эта похожая на блудницу женщина поклонилась мне, я не отверг её приветствия – я поддался первому безотчётному порыву и молча, с улыбкой во взгляде поклонился в ответ.

И теперь каждый день, лишь только начнёт смеркаться, в окне напротив непременно появляется женщина-полукровка и, бесстыдно кокетничая, низко кланяется мне. Иногда она срывает бутоны с рассаженных по горшкам роз и лилий и кидает их через улицу в моё окно.

Я опускаюсь в потёртое старое кресло, но с некоторых пор обращаю всё меньше внимания на гомон шагающих взад и вперёд людей. Видимо, сколько бы я ни ждал, гость никогда не придёт. Слишком долго компанию мне составляло лишь собственное отражение в зеркале. Я решил, что не буду больше проводить дни в ожидании далёкого гостя.

Поэтому, когда похожая на блудницу женщина приветственно кланяется мне, я обязательно кланяюсь в ответ.

...И так тоже продолжалось долго, очень долго.

Но однажды утром мне пришло письмо, в котором сообщалось, что со мной искали встречи, но, сколько ни жали на кнопку электрического звонка, никто не отвечал, и потому мысль о свидании со мной пришлось оставить. Ступая по бутонам роз и лилий, что накануне вечером кидала в моё окно женщина-полукровка, я специально спустился в прихожую, чтобы проверить звонок. И увидел, что провод, оказывается, порвался пополам: может, он проржавел, а может, причиной неисправности послужила чья-то злая шалость. На душе сделалось тяжело. Если бы я не узнал похожей на блудницу женщины, что живёт за жёлтыми шторами, радостный голос этого электрического звонка, несомненно, уже давно мог бы достичь моего слуха, возвещая о приходе кого-то из долгожданных гостей.

Я тихо поднялся обратно на второй этаж и сел в стоящее возле окна кресло.

...С наступлением вечера в окне напротив, как и прежде, появляется женщина в шёлковом кимоно и, бесстыдно кокетничая, низко кланяется мне. Однако я уже не кланяюсь ей в ответ. Вместо этого я пристально вглядываюсь в сумрак пустынной улицы и жду далёкого гостя, который, возможно, когда-нибудь покажется у моего порога. И мне всё так же одиноко.

Перевод с японского Е. Юдиной

ХОРИ ТАЦУО
(1904–1953)

ОКНО

Новелла

Как-то осенним днём я решил нанести визит госпоже О и направился к ней на дачу, отрезанную от города небольшим болотцем.

Добраться туда можно было не иначе как по тропинке, ведущей в обход, вокруг топи, поэтому, пока я шёл, отражавшийся в воде дачный домик постоянно мелькал у меня перед глазами, хотя выйти к нему никак не удавалось. В итоге я сам не заметил, как впал в полудрёму и начал грезить на ходу, однако повинна в том была, похоже, не только обманчивая близость моей цели, но и странный, словно заброшенный облик здания, к которому я направлялся. Пепельно-серые стены небольшой постройки обвивал плющ, и, судя по тому, как он разросся, ставни на окнах дома в последнее время, должно быть, не отворялись вовсе. Образ прекрасной вдовы, которая вот уже несколько лет жила в подобном месте в полном одиночестве и, как рассказывали, лечилась от поразившей её болезни глаз, сам собою приобретал в моём воображении романтический ореол.

Я опасался, что внезапный визит и то дело, с которым я шёл теперь к госпоже О, потревожат её уединённый покой. На днях открывалась посмертная выставка моего уважаемого учителя, господина А, и интерес мой состоял в том, чтобы просить у госпожи О согласия выставить одно из принадлежащих ей поздних полотен художника. Мне самому довелось видеть картину лишь раз, когда учитель впервые представлял её вниманию публики на своей персональной выставке. Среди весьма непростых для понимания творений, которыми изобиловали последние годы его жизни, это было самым загадочным: полотно, написанное в характерной технике и цветовой палитре, носило незатейливое название «Окно», но представляло собой странную метафору, ибо разобрать, что на нём изображено, казалось совершенно невозможным. Тем не менее, учитель любил это творение более прочих и даже признавался мне незадолго до смерти, что в нём содержится ключ к пониманию всех его работ. Однако в определённый момент госпожа О, ставшая собственницей картины, по какой-то причине укрыла её от посторонних глаз и больше никому уже не показывала. Поэтому, задумав нынче посетить госпожу О под предлогом готовящегося мероприятия, я рассчитывал на то, что даже если картина не будет выставлена на всеобщее обозрение, я сумею, по крайней мере, мельком взглянуть на неё...

• **Хори Тацуо** – японский прозаик, поэт и переводчик. Автор повестей «Прекрасное селение» (1933), «Ветер крепчает» (1936–1937), «Детство» (1938) и др., романа «Наоко» (1941), серии рассказов и поэтических эссе. Удостоен 1-й литературной премии издательства «Тюокорон» (1942), премии издательства «Майнити» в области культуры (1950).

Наконец я вышел к дачному домику и неуверенно нажал на кнопку дверного звонка.

В доме, однако, не раздалось ни звука. Предположив, что звонок перестал работать, оттого что им давно никто не пользовался, я собрался нажать на кнопку снова, будто бы проверяя её исправность, но в это самое мгновение входная дверь передо мною бесшумно, словно под действием некого внутреннего механизма, отворилась.

Передавая визитную карточку, я почти не надеялся на личную встречу с хозяйкой дома, но вопреки ожиданиям безо всякого труда получил аудиенцию.

В комнате, куда меня пригласили, было темно.

Пройдя внутрь, я увидел женщину: она тихо поднялась с кресла, стоящего в углу, лёгким поклоном приветствовала меня, и я едва не позабыл о том, что она слепа. Её движения ничем не отличались от движений любого другого человека – настолько хорошо она ориентировалась в своём доме.

Она предложила мне сесть и, поняв, что я опустился в кресло, сразу же, не дав мне опомниться, начала задавать разные вопросы касательно господина А.

Я, естественно, с готовностью отвечал, рассказывая обо всём, что знаю.

Более того, всеми силами стараясь заслужить её расположение, я, опережая расспросы, даже раскрыл некоторые секреты господина А, известные лишь мне одному. Например, поведал такую историю. Однажды мы отправились на очередную выставку французской живописи, чтобы полюбоваться работой Сезанна. Мы долго стояли перед картиной, а потом господин А, удостоверившись, что рядом никого нет, неожиданно подошёл к ней и, послюнявив мизинец, принялся тереть краешек холста. Тут я ощутил безотчётную тревогу и крадучись приблизился к учителю. А он показал мне окрасившийся зелёным палец и прошептал: «Этот цвет не так-то легко заполучить, если не решиться на подобное!»

От внимания моего не ускользнуло, что за время нашей беседы женщина, очевидно питавшая особый интерес ко всему, что касалось господина А, постепенно и ко мне начала проникаться определённой симпатией.

Между тем разговор зашёл о работах мастера, принадлежащих госпоже О.

Едва только мне представилась долгожданная возможность, как я сразу же изложил суть своего дела. На что получил ответ:

– Эту картину нельзя больше предлагать вниманию публики как одно из произведений господина А. Если я решусь на подобное, никто не поверит, что это подлинник. Дело в том, что сейчас она выглядит не так, как выглядела несколько лет назад.

Я не сразу осознал смысл сказанных слов. Мелькнула даже мысль, что душевное здоровье вдовы, как это ни печально, может быть расстроено.

– Вы хорошо помните, как картина выглядела раньше? – спросила женщина.

– Да, весьма живо.

– В таком случае, возможно, стоит показать её вам...

Женщина, похоже, колебалась. Наконец она произнесла:

– Что ж, пусть будет так. Я надеялась, что это останется моим секретом, но я покажу вам картину. Сейчас мои глаза совсем ослабли, и только сердце подсказывает мне, насколько она изменилась с тех пор, когда я ещё могла её видеть. И хотя я верю, что чувства меня не обманывают, доверяясь вам, я хотела бы, чтобы вы помогли мне убедиться в этом.

Хозяйка дома поднялась, тем самым предлагая мне проследовать к полотну. Я шёл за ней, переходя из одного сумрачного коридора в другой, и меня не покидало ощущение, будто это не она, а я лишился зрения.

Неожиданно женщина остановилась. И тогда я заметил, что мы стоим перед картиной учителя. Вывешенная в закутке, напоминающем не то каморку, не то внутренний переход, она словно парила в лившихся откуда-то лучах дивного и неизъяснимо таинственного света. Ещё вернее было бы сказать, что в этом тёмном углу она – в полном соответствии со своим названием – служила единственным раскрытым «окном». Казалось, струившийся вокруг потусторонний свет исходит от самого холста. Возможно, то были лучи, проникавшие к нам сквозь «окно» из иного, сверхъестественного мира... Вместе с тем я не сомневался, что видение это породила передавшаяся мне обостренная чувствительность, какую проявляла в отношении картины стоявшая рядом женщина.

Однако имелось кое-что ещё, особенно меня поразившее: в лучах потустороннего света мне ясно виделся бледный лик самого господина А, которого я совершенно не приметил несколько лет назад. Сказать, что я был удивлён, лишь теперь обнаружив эту деталь, значит не сказать ничего. Сердце моё едва не выпрыгивало из груди.

Я решительно не мог поверить в то, что несколько лет назад это изображение уже присутствовало на картине.

– Здесь же господин А! – воскликнул я невольно.

– Вы тоже его видите?

– Да, несомненно.

Глаза мои успели привыкнуть к царившему вокруг полумраку, поэтому от меня не укрылось, как просияло в тот момент лицо женщины.

Я вновь перевёл взгляд на картину, гадая о природе этого удивительного и по-своему чудесного преображения. Госпожа О заслуживала полнейшего доверия, и можно было не сомневаться: принадлежащая ей картина не переписывалась. Если же какие-то детали действительно появились на холсте позже других, то это могли быть только очертания и цвета, которые я видел когда-то на персональной выставке учителя. Вероятно, они были наложены поверх тех, что мы наблюдали теперь, но с течением времени выцвели или претерпели какую-то иную метаморфозу, и тогда сам собою вновь проступил исходный рисунок. Истории известно немало подобных примеров. Говорят, нечто похожее происходило с настенными росписями Тинторетто.

...Вот только в случае с картиной учителя прошло слишком мало времени. При этом на протяжении нескольких лет она занимала то же самое место, что и сейчас: на неё всегда смотрели с одного и того же расстояния, при одном и том же освещении. Так не позволяет ли уникальное расположение, найденное благодаря поразительной чуткости госпожи О, увидеть то, что ускользает от взгляда, брошенного под любым другим углом?

Пока я размышлял над этим, меня неожиданно посетила догадка, постепенно переросшая в уверенность: должно быть, учитель когда-то очень любил эту женщину, и она, вероятно, втайне принимала его чувства, хотя и не выказывала своей благосклонности явно.

Глубоко тронутый, я всё стоял и смотрел – то на произведение учителя, то на невидящие, но словно вглядывающиеся в картину глаза женщины.

Перевод с японского Е. Юдиной

Окончание следует.

Перевод новеллы Хори Тацуо «Святое семейство» см. в №1(45) 2024 г.

Из немецкой поэзии

ВИЛЬГЕЛЬМ АРЕНТ (1864–1914?)

СВЯЩЕННЫЙ ЧАС

О час священный!
Бесценный час!
Целует нежно ночь
Благоговейно
Уставшую в заботах землю.
И угасают постепенно
В сплошной тиши
Все жизни голоса...
Как будто сотканы из ткани,
Белеют мёртвые луга,
И тонет в серебре вуали
Желтеющим пятном луна.
Привет шлют мягко сверху звёзды –
Вздымается единым ростом
Безмолвно магия
Ночного торжества.
Лишь иногда
Чуть слышен шёпот
В беседке пышной;
И словно призрака объятья,
Пронзает дрожь
Деревья и кусты,
Как будто сообщить хотят они
О тех загадках,
Что с начала
Во взлётах и паденьях видны...
Спасение нашли
Мучительные чувства
В волшебной сказке забытья,
Где в сферах взвешенных
Простые гимны льются
Природе, что мечтой окружена,
Красиво дремлет
У открытого окна.
Я пью глотками,
Переполненный желаньем,
Божественный бесценный мир,
Безудержное счастье без конца...
И ночью майской,
Слыша вечное дыханье,
Как будто тело умирает,
И бьётся общий пульс один
Со звёздами и дальними мирами,
Спешу к нему навстречу я
Рассветным утром ранним.

ЦЕЛЬ

Ещё когда мальчишкой был, меня тянуло к иным звёздам,
Горячей страстью заболев, я знать хотел, как мир наш создан.
Как в лихорадочном огне, я выбегал нередко в поле...
Я весь дрожал, и холодел, и мёрз под ливнями на воле.
Я слышал крики мёртвых душ в мелодиях разноголосых,
Я видел тень огромных крыл, что в ад тела друзей уносят.
Исчезла в вечность темнота, сгустив туманы лёгкой стаей,
Открылся призрачный мне мир, что виден чуткими глазами.
И не было в груди моей ни боли, ни мирских желаний: бой кончился,
И был я всем и всем был я: пришёл ко мне так мир ночами.

К МЕСТУ СМЕРТИ...

Я часто к месту смерти прихожу,
Там меж могил спокойно я брожу.
Читаю иногда я на обычном камне
Любви красивые и нежные послания.
Шум города звучит в ушах, как сон,
Мне кажется, что в мире я другом.
Душа умрёт, а с нею умрёт боль,
Отправятся мечты ввысь на покой.
Я словно бабочка, стремящаяся в лето,
Я словно пятнышко, отставшее от света.
Я будто и живу, и мёртв уж много лет,
Я, может, был когда-то, а быть может, нет.
Я без границ в пространстве и без времени,
Как мёртвый лист, давно упавший с дерева.

ОСТАВЬ МЕНЯ

Оставь меня, манящее желание,
Припасть к груди её, дышащей страстью,
Сияние в её глазах увидеть влажных
И в поцелуе позабыться сладострастном!
Я не хочу тонуть в её объятьях,
Заполненных пленительным дыханьем,
В безумное блаженство погружаться –
Душа стремится к солнцу утром ранним!
В святую окунаться ясность жажду!
Открой, о небо, мне божественную правду!

В ПИТЕЙНОМ КРУГУ

Настала ночь. Мерцают чуть огни,
В окно заглядывает бледный лик луны.
Сидим за праздничным столом мы в круге,
Передавая чашу из рук в руки.
Мы дикие и сочные гуляки,
Льём шутки, как вино из нашей фляги.

Весёлых блудниц звучит звонкий смех,
Словно волнующий и радостный напев...
О изобилия дарованное счастье!
А дьявольский соблазн пьянит всё слаще.
И может быть, в ближайший самый час
Над нашей головой смерть носится сейчас:
Но это не тревожит нас. Грудь тянется к груди –
Давайте же умрём все в омуте любви!

БОЛЬШЕ НИКОГДА...

На улицах заснеженных темно,
Как лето далеко, как далеко!
С недавних пор мир видится мне в снах:
Деревьев ветви утопают все в цветах,
Объят морозный воздух чистотой,
Дрожат бутоны нежные зимой!
И вспоминая радость ясных дней,
Грустит душа среди сплошных теней.
Нигде не может успокоиться она:
Весны не будет больше никогда.
И больше никогда ей не вдыхать
Цветочный аромат, холодная кровать
Ждёт там, где суждено ей умереть одной –
И больше никогда рассвет не встретить свой.

ВЕСЕННЕЕ БЛАГОГОВЕНИЕ

Несётся по земле весенняя гроза...
Когда горит огнём в тоске моя душа,
Сбегаю я, чтоб в одиночестве побыть,
Потоком ветра внутри пламя охладить.
И в утонувшей памяти моей
Меня встречает солнце вечных дней,
Журчат мне ласково бегущие ручьи,
Кричат мне птицы: «Счастлив будь и ты!»
Деревья наклоняются ко мне,
Благоговейно я внимаю тишине.
Святая пробирает меня дрожь,
Как будто таинство мне приоткрыл сам Бог.
И я, как часть большого естества,
Вдыхаю трепетно дыханье божества.

КО ВХОДУ

Поэт всегда, как и служитель веры,
Святому слову, словно Богу, верен.
Он весь, горя в моменты вдохновения,
Божественные пишет откровения.

Стучит в его груди большое сердце,
Вмещающее страсти человечества.
Он, как пророк, который тёмной ночью
Вдруг видит свет вблизи себя воочию.
Он, как король в прекрасном королевстве,
Спасает от грехов, даря надежду.
Горит, как солнце, на людском он небосводе,
Слагая гимны жизни и природе.
И песня его будет длиться вечно,
Пока последний человек жив на планете.

НА ***

Стремитесь вы к бессмертной славе,
Величественный, словно лев,
Ища божественное пламя,
Земной мир полностью презрев.

Прошу, откройте свою тайну!
Я беден и устал страдать.
Я поднимусь в борьбе за вами,
И, может быть, спою, как знать.

Ту песню, что в подлунном мире
Рвёт душу, пряча от обид,
Когда свободы дух в эфире
Цветочной аурой парит.

Как откровение та песня,
Что в бурях нам несёт весна,
Где божеством при ярком свете
Природа видится сама.

Та песня, что течёт слезою,
Что утоляет тоску вмиг,
Избавив каждого от боли,
Та песня, что любви сродни.

Та песня, что не стонет нудно,
Та песня, где святой есть смысл,
Где рассветает вечно утро,
Где солнце вечное горит.

Перевод с немецкого И. Ивановой

• **Ирина Иванова** – лауреат IV Открытого конкурса художественного перевода (Магадан, 2021) в номинации «Поэзия» (немецкий язык). Публикация переводов в журнале «Берлин. Берега». Живёт в г. Нижний Новгород.

Из английской поэзии

ЛОУРЕНС БИНЬОН (1869–1943)

ПАВШИМ

Благодарна сынам и горда она ими –
Матерь-Англия нынче по павшим скорбит.
Их покой охраняем краями чужими,
Плоть от плоти иссечена яростью битв

За свободу. Торжественный бой барабанов,
Август мертвен и царствен, возносится песнь
Сквозь отчаянье, гордость в слезах капитанов
Вплоть до самых высоких бессмертных небес.

С песней бодрой юнцы отправлялись на битву –
Зорок глаз, пылко сердце и ноги крепки.
Бились стойко, пока не валились – убиты, –
Взгляд направив туда, где их ждали враги.

Нет, они не состарятся – мы постареем.
Не истреплют года их и не проклянут.
Пока солнце заходит, восходит и греет,
Будем помнить мы их до последних минут.

Им с друзьями на встречу уже не собраться,
За столом им с родными уже не сидеть.
В страдный день без работы останутся братья –
Ждёт их в пене морской сон, похожий на смерть.

Там они, где стремленья, мечты и надежды,
Бьют ключом из земли, точно скрытый поток.
Наша Англия знает их сердцем, как прежде,
Как знаком ночи каждый её огонёк.

И как звёзды, скользя по небесным равнинам,
Не погаснут, когда обратимся мы в прах,
В час темнейший сияя искристо и дивно,
Так и их будут славить во все времена.

АЛЬФРЕД ДУГЛАС (1870–1945)

ДВЕ ЛЮБВИ

Мне снилось, что стою я на холме
И, словно сад заброшенный, у ног
Разлёгся своевольный дикий луг,
Бутонов полный, и цветов, прудов,
Забывшихся в спокойном тёмном сне,

И белых лилий, крокусов, клубок
Змей-рябчиков, пастельный нежный круг
Фиалок меж густых травы пучков,
Барвинков робких в солнечном луче
И прочих, мне неведомых цветов,
Отмеченных тенями иль луной,
Природы норовом, как тот, чей цвет
Заката догорающей свече
Подобен; трав душистых стебельков,
Которые уж сотню лет весной
По капле пьют хрустальный звёздный свет,
Росу благоуханных лилий – им
Жар солнца божью милость лишь дарил
И никогда не опалял. Вдали,
Виднеясь в чистом воздухе небес,
Вал каменный, мхом пышным одолим,
Стоял; тот край, что сердцу был так мил
И странен, долго взглядом я дарил.
Вдруг чу! Среди цветов прошёл окрест
Юнец, лицо завесивший рукой
От солнца, и под ветром, как цветы,
Дрожали завитки его волос;
Гроздь винограда нёс в другой горсти,
Хрустальной взгляд светился чистотой.
Своей он не стыдился наготы –
Как свежий снег на склонах гор белёс,
Как мрамор. И на нём губам цвети
Упавшей каплей красного вина.
Приблизился (кремню подобна бровь),
Взял за руку и нежный поцелуй
Мне подарил и сочный виноград.
«Мой милый друг! Пойдём со мной, и нам
Жизнь с тенью мира явят свой норов.
Скитальцев вечных зри и не тоскуй!»
И точно с юга через сонный сад
Явились двое золотом равнин.
Один был весел, светел и румян,
Дорогой он беспечно напевал
О милых девах, юности любви,
Сверкая взглядом, брёл среди низин
С отрадой сквозь травы густой сафьян.
Слоновый бивень – вот был материал
Для лютни, что руками он обвил,
А струны – злато девичьих волос.
Подобен звукам флейты голос был,
На шее висли три венка из роз.
Но друг его, что с ним бок о бок шёл,

Был полон грусти сладостной. Вопрос
В его глазах распахнутых сквозил,
Блестящих странно. Сердце извелось
От вздохов тех, что лилий вялых шёлк
Лица его сочил, цвет маков губ.
Он руки то сжимал, то разжимал,
Из луноцветов на челе венок,
Как смерти рот, бескровно-бледен был.
Одежд багряных золотом раструб
Змей зло огнедышащий обнимал.
Его узрев, от слёз я изнемог
И юношу в отчаянье спросил:
«Скажи, мой друг, печален отчего
Ты бродишь в этом радостном краю?
Ответь мне честно, как тебя зовут?
Молю!». Ответ был: «Имя мне Любовь».
Тут промолчать второй юнец не мог:
«Он лжёт, присвоил славу он мою!
Он – Стыд! А я, Любовь, один был тут,
Пока он не пришёл – дурная кровь! –
Незваный в ночь. Сердца я исподволь
Взаимной страстью вмиг могу связать!»
«Пусть так, – вздохнул другой. – А я Любовь,
Что не посмеет ввек себя назвать».

Перевод с английского М. Чернышёвой

• **Маргарита Чернышёва** – лауреат IV Открытого конкурса художественного перевода (Магадан, 2021) в номинации «Поэзия» (английский язык). Живёт в г. Краснознаменск (Московская обл.).

ИЗЯЩНАЯ СЛОВЕСНОСТЬ №1 (44) • 2023

Литературно-художественный журнал

Учредитель *С. А. Склейнис*

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ78-01360 от 27.05.2013 г. выдано Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу.

Адрес редакции: 191119, Санкт-Петербург, Звенигородская, д. 22, лит. В.
Тел. (812) 404-63-08, +79213249184.

Почтовый адрес: 197372, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская 20, корп. 3-12.
E-mail: skleynis@ou.ru

Сайт журнала: http://neisri.narod.ru/is/index.htm

Оформить подписку и приобрести отдельные номера журнала можно в редакции.
Заказ по электронной почте: E-mail: skleynis@ou.ru

•

Розничная продажа в Санкт-Петербурге:

магазин «Порядок слов» (Набережная реки Фонтанки, 15)
книжный салон «У Ахматовой» (Литейный пр., 51)

•

Корректор *С. Вершинина*
Технический редактор *К. Новикова*
Компьютерная верстка *С. Ефимовой*
Фото на обложке *Е. Сапожникова*

•

Подписано в печать 11.10.2023 г. Гарнитура Букварная. Формат 70×100/16.
Усл-печ. л. 10,5. Уч.-изд. л. 11,7. Печать ризография. Тираж 300. Заказ 6435. Цена свободная.

Отпечатано в Издательско-полиграфическом центре Политехнического университета:
195251, г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29. Тел. (812) 552-77-17, 550-40-14.